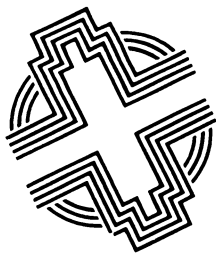


ИННА
ВАРЛАМОВА
МЕШМАЯ
ЖИЗНЬ





**ИННА
ВАРЛАМОВА**
МЕЛЛАЯ
ЖИЗНЬ



Ardis///Ann Arbor

Inna Varlamova
MNIMAIA ZHIZN'

Copyright ©1978 by Inna Varlamova
ISBN 0-88233-481-6

The Russian text of this book first appeared, with the permission and coyright of Inna Varlamova, in Nos. 31, 32, 33 (1978) of *Vremia i my* (Tel-Aviv). Ardis gratefully acknowledges the cooperation of that journal.

First Ardis printing, August 1979.

“...Это лживость особая, самым человеком почти неосознаваемая, привычная жизнь выдуманными чувствами, уже давно, разумеется, ставшими второй натурой, а все-таки выдуманными.

Какое огромное количество таких “лгунов” в моей памяти!

Необыкновенный сюжет для романа, и страшного романа”.

И. Бунин “Окаянные дни”.

ГОЛГОФА

Шагом быстрым, решительным, можно даже сказать — спортивным, шла Нора вдоль госпитальной ограды. Так же быстро, несмотря на свой возраст, и, пожалуй, еще спортивнее шагал рядом с ней ее муж.

Вспоминая потом, как они поднимались на эту Голгофу, она признавала себя, прежнюю, женщиной интересной и совсем еще молодой. Ей не совестно было так про самое себя думать, потому что это как бы была не она, а существо ей, нынешней, вовсе чуждое, доисторическое. Несмотря на все пережитое, Нора могла отстраненно понять даже то, почему в такие значительные, пограничные в жизни минуты ее занимало, как она выглядит. (Не затем ли и шла так легко и спортивно?) Это было последнее, что ее связывало с прошлым земным миром, с его сладостной суетой, и трудно было от него отрываться, холодно становилось при мысли о надвигающемся аристократизме болезни. Не в том смысле слова, что это — болезнь аристократов, как прежде считалась, к примеру, подагра. А в том, что приносимые ею страдания разом выбрасывают человека из жизни, одновременно и возвышая его над другими людьми, словно какого-нибудь страстотерпца, столп-

ника... Это-то и пугало Нору больше всего. Пока ничего еще толком об этой болезни не зная, Нора пуще телесных мук боялась и ее кастовой замкнутости, и высокомерия одинокого духа, отрешенного от всего плотского, дольного.

Ограда было не особенно длинной и все же достаточно длинной, чтобы в какой-то момент, на бегу, на лету жизнь Норы успела переломиться. Боковым зрением она сразу увидела там, за оградой, гуляющих парами или по трое женщин — были там и мужчины, но те почему-то не так ее ужаснули, да и женщины ужаснули не тотчас, а лишь тогда, когда она себе это позволила, обозначив свое впечатление словом.

Вот только что Нора шла, подчеркнуто молодецки помахивая рукой, — как, бывало, шагала на демонстрациях, наслаждаясь состоянием эйфории, которое так любила в себе еще с отрочества, — состоянием рабы, лишь тогда счастливой по-настоящему, когда ее преданность, перейдя за грань простой искренности, превращается в чувство почти мистическое.

Как вдруг слово, красным сигналом тревоги вспыхнувшее в мозгу, заставило Нору споткнуться. "Лепрозорий", — вслух сказала она, искоса посмотрев на Илью, но тот, как и следовало ожидать, сделал вид, что не слышит. Обуявшая ее тоска, нерассуждающая, животная, была чувством настолько низменным, настолько позорным, что прямо ее обнаружить она бы сочла для себя бесчестьем. Ну, а уж он бы воспринял это едва ли не как политический выпад.

Перенос обычных, некогда всем понятных и в общем простительных чувств в надличную или, скорее, внеличную плоскость совершается словно бы сам собой, бессознательно, по привычке. Чувства, расцениваемые большинством как постыдные, запросто переходят в свою противоположность, и подобная их переплавка давно уже стала для Норы самым будничным делом, не лишенным даже известной приятности. Сколько раз так бывало — душит тоска, но не дай ей себя одолеть, перекрась ее в радость. Страшно, а ты свой страх побори. Унизили, — но ведь унижение — паче гордости... И Нора умела заставить себя испытывать гордость и в унижении.

Усилием воли она погасила красный сигнал.

Больные гуляли там за оградой, болтали, смеялись, словно даже они, в своем лепрозории, не имели права печалиться. Словно бы перед ними ни разу не загорался сигнал тревоги, а вечно маячил некий успокоительный лозунг: "У нас не умирают!", к примеру. Или: "Смерть, go home!"

Несмотря на июльский зной, женщины были одеты в байковые халаты, все в одинаковые, красные маки по синему фону, и это, по-видимому, в чьих-то глазах выглядело большим достижением. Не серые и застиранные, а синие с красным, в цветочках, веселенькие, служащие той же цели — повышению тонуса, и потому казавшиеся Норе особенно удручающими. Но она не додумала этого — прочь малодушие! — и улыбнулась мужу. Он ей ответил улыбкой, подхватил ее под руку и так, бодро шагая в ногу, они миновали больничную проходную.

КОНЦЫ И НАЧАЛА

Лишь улегшись на отведенной ей симпатичной коечке у окна, провалившись в уютную впадину сетки, растянувшейся, как хорошо послуживший гамак, прикрыв горячие плечи сырой простынею с ляписным штампом, она, наконец, успокоилась. Муж, помахав на прощанье рукой, ушел, прошлое кануло в бездну, она в этой новой жизни осталась одна, и вот нашлась ей ячейка, у любого была здесь своя ячейка, а ей досталась еще не самая худшая, рядом с открытой оконной створкой, правда, с видом на морг, но лоб овевало ветром — жарким, июльским, и все-таки хоть какой-то слабый ток воздуха, — дали кефиру, рисовой каши, в которой, напоказ выставляя честность раздатчицы, в специально сделанном углублении золотисто блестела лужица жидкого масла, — лежи теперь, знай, да полеживай, хочешь спи, хочешь думай.

Неужели это было вчера?.. У края деревни, за колхозной конюшней, где, как слышно было, всхрапывали порой усталые лошади, был затишек, и у Норы над головой серой мохнатой тучкой толклись комары. С вечернего, бледного, с про-

зеленю и вроде тоже усталого неба уже успели стечь краски и сгуститься по окоему, над лесом, к вечеру потемневшим до черноты и пьющим, словно бы слизывающим острыми верхушками елей эти зоровые подтеки. Нора стояла, смотрела на жухлое клеверище, не двигаясь, утопая чуть ли не до щиколотки в теплой пыли. "Прощай, небо, прощай, все", — думала она. Потом опустилась на разлтые белесые лопухи — сидела, не плакала, что-то больно кололо ладонь, вдавливалось в мякоть — острая щепка или стекло. Ну и пускай. Теперь ничто не имело значения.

Так представлялось ей только вчера. Но, оказывается, не имел значения лишь некий срединный отрезок существования. Откуда ей было знать, что после долгого-долгого перерыва вновь начнется, вернее, продолжится, быть может, очень уже короткая, но все же единственно подлинная ее жизнь, каким-то чудным, неисповедимым путем воссоединившись с тем незапятнанным временем, когда Нора была собой, — совсем еще дурочкой, "порох-девкой", как говорила няня Анисья, зазнайкой, смехотворно обидчивой и драчливой, фантезеркой неимоверной, но и жалостливой до нелепости. Самым ценным человеческим качеством она почитала тогда справедливость. За нее-то всегда и дралась, а обижалась — до громкого рева — на одну лишь несправедливость.

Удивительно, как сошлись все концы и начала.

АНТОН

Два дня назад Антон сломал руку, упав с лошади, — наверно, как раз где-то там, у конюшни. Мальчишки-дачники повадились бегать к старому конюху, слушать его рассказы, печь с ним картошку. Сын, хотя был еще мал, частенько увязывался за ними. Говорят, ребята посадили его на коня, он сидел, гордился, крепко цеплялся, однако, за холку, конь стоял неподвижно, как вкопанный, только отмахивался хвостом от слепней. Потом дружки разбежались — кто в ко-

нюшню, кто подкинуть щепок в костер, — Антон в одиночестве заскучал и, вытянув вниз руки, стал потихоньку сползать. Падать было невысоко, но кость хрустнула. Антон полежал, прислушался — что-то с ним приключилось, что-то внутри у него нарушилось — он это понял. Однако, ребятам сказать постеснялся, а встал и боком-боком, незаметно для всех ушел. Только у самой дачи он зарыдал в голос. Не от боли — от страха, что заругают. И предстал перед Норой в слезах, с черными, размазанными щеками. Ильи не было, он еще утром неожиданно отправился в город.

Все раскудахтались над ребенком — и Нора, и тетя Домна, и Тата, — рука у него покраснела и вспухла, была горячей наощупь, надо было ехать в Москву, и Нора с Антоном, быстро собравшись, помчалась к автобусу. В поликлинику они успели как раз к закрытию. “А врачи что — не люди? — бросила ей на бегу сестра. (Нора неслась за ней вдогонку по коридору.) — Мы тоже спешим домой! У вас дети, а у нас, по-вашему, собачата?” Нора едва умолила принять, и оказалось, что перелом, слава Богу, хоть без смещения. Наложили Антону гипс, и усталые ввалились они под вечер к себе в квартиру.

КТО ВИНОВАТ?

Илья потом говорил (и Нора ему поверила), что, махнув утром с дачи, он ничего такого в уме не держал. “Сорвало с места и все, как ветром сдуло”. Ну что ж, бывает, кому-кому, а ей это понятно. “Приехал и вдруг, среди бела дня, брякнулся спать”. Конечно, в пустой прохладной квартире даже спать приятнее, чем на даче, на хозяйском продавленном ложе, с постоянно и неумолчно, как телеграфные провода, зудящим где-то над ухом осиным гнездом, с разбегающимися, стоит лишь приподнять ведро с пола, мерзкими насекомыми, которых дети прозвали двухвостками...

Да и вообще на даче все уже стало противно, все надоело — и самый уклад жизни с ежедневным, обязательным или,

точнее сказать, обязательно-добровольным, словно субботник, собираньем грибов, тасканьем воды из ручья, с чадом от керосинки, с висящей по стенам отсыревающей за ночь одеждой, с толчеей на веранде и в крохотной, заставленной раскладушками и чемоданами комнате, с невозможностью уединения, а главное — с вечными ссорами ("Ты так изменилась", — заметил Илья, и верно, она почему-то скисла в последнее время — куда подевалась ее жизнерадостная покорность? Он прав). "А потом позвонила Настя, сказала, что здесь проездом, всего три часа в Москве, давай повидаемся, ну и... Сам не знаю, как получилось, однако, я ни о чем не жалею, это ты виновата, ты, а не я, поломала все..."

ДРУГАЯ

Но это он говорил потом, уже ночью. А пока разыгрался фарс. Истинный фарс.

Ручка двери в заднюю комнату под нажимом ее ладони дошла до упора, но дверь не открылась, и Нора тупо уставилась в неподвижное полотно.

— Странно, зачем-то запер на ключ... Вот что: я побежала за хлебом, а ты сиди и, если папа будет звонить... — Нора прислушалась. — Э, да там кто-то есть... Илья, ты не спишь? Это мы, — и она постучала.

Молчание. Тишина. Но не тихая тишина, а какая-то напряженная.

— Антон, неси ключ, запасной, он должен быть в ящике, там, где вилки и ложки, на кухне, быстро!

Антон побежал, и тотчас раздался скрежет замка, дверь распахнулась, на пороге стоял Илья, без очков, с отчаянно злыми и вместе растерянными глазами.

— Ты спал?

— Да... Нет. Уведи ребенка. Сюда нельзя.

Одним плечом упираясь в косяк, другим — в полотно отворенной двери, он всем телом загораживал вход в комнату. "Как при обыске", — подумала Нора и пожалела его.

— Пап, а пап! — торжествующе заорал влетевший из кухни Антон. — А я руку сломал — во!

Дверь захлопнулась, яростно твякнул замок, раз и еще раз, и опять перед Норой невинная ровная белизна.

Она опустила на стул, посидела. В груди стучал метроном, в ушах — вата, как после взрыва. "Вот это история, — думала Нора. — Что же мне делать? Другая уж точно знала бы, как поступить". Но она никогда не умела так обходиться с людьми, как та символическая "другая", которую Нора неизменно ставила себе в пример. "Другая", конечно, была блондинкой, носила юнгштурмовку, прыгала с парашютом, из учебной винтовки сажала в десятку без промаха, не боялась выступать на собраниях, всем говорила "ты", могла "смерить взглядом", "окатить холодным презрением", кому угодно "расхохотаться в лицо". Нет, Нора на это была органически не способна... Ах, да. Он ведь что-то сказал. "Уведи ребенка". Правильно. Увести.

— Антон, пошли.

— Куда-а?

— Не знаю... За хлебом.

— И нет, и нет, я еще папе не рассказал, я хочу папе...

— Без разговоров! Ну?

— Ма-ам! — в голосе слезы.

— Оставь, — Илья вышел к ним. — Как это его угораздило? И правда, что ли, руку сломал?

— Ага, ага, я с лошади сверзился, я...

Нора уже не слушала. Кто там, за дверью? Как ни смешно, у нее не было никаких, даже самых отдаленных предположений. Но имеет же она право хотя бы узнать? Нора встала. И впервые в жизни сделала так, как блондинка в юнгштурмовке. Насквозь прошитая взглядом Ильи, нет, пулеметной очередью уничтожающих взглядов, вся в дырах навылет, Нора вошла в спальню.

Быстро скосила глаза вправо, — там на тахте скромно натянута плед, затем влево, на стол — тут машинка, груды бумаг и книг и среди всего этого, по-студенчески, на газетке, — чайник, масленка, сахарница, батон ("чаек попивали" — по-

думала Нора, и мелкая эта подробность, как часто бывает, отдалась в ней особенно резкой болью), но все же она усмехнулась — так мгновенно-летуче, что внутренняя усмешка не успела коснуться ни губ, ни глаз, уже неотрывно вперенных в женщину. Та сидела на стуле, ничуть не раздавленная, скорее — воинственная (может быть, от испуга), руки сложены на коленях, большие грубые руки. Это была Настя. "Настя!" — с облегчением подумала Нора и тотчас ожесточилась. Настя. Вот скотство. Но нет, именно с Настей не было скотства. С ней — нет.

Когда-то Нора прочла у Блока, совсем еще юного, что главным своим пороком он признает нерешительность. На что велик человек, а вот же и он... Разве этим только и утешаться. Теперь уже не блондинка в юнгштурмовке, а разум, простой здравый смысл подсказывал ей, что надо уйти. Немедленно. И исчезнуть. Неважно куда. Уехать в другой город. Спрятаться у подружки. Не подавать признаков жизни. Долго. Несколько месяцев. Пусть он поищет ее. И будет она королева. Ей, не ему, тогда диктовать, жить ли им дальше вместе и, главное, как жить. Очень достойный выход.

Но она никогда не была королевой и, видно, уже не будет. Стрит перед Настей, как столб, не зная, что говорить... А впрочем, "железная комендантша" тоже не то, чтобы чувствовала себя на коне. "Присаживайтесь", — ни с того ни с сего пробормотала она. "Вот как? — скрипуче воскликнула Нора, с отворачиванием слыша свой голос. — Вы меня приглашаете сесть, в моем доме?" ("Ужас", — подумала она мимолетно — все мысли вспыхивали и гасли в ее помраченном сознании, подобно зарницам.)

Тут она повернулась и вышла. Спасибо, что хоть на это хватило ума — ни слова больше не вымолвить и уйти.

— Пошли, сынок, — хрипло сказала Нора.

И что-то вдруг понял ребенок. Молча поднялся, взял ее за руку и по дороге не спрашивал ни о чем.

Когда они возвратились, Насти уже не было.

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО

Илья взял Антона к себе, а Нора легла в проходной комнате на короткой детской кушетке. Глаза ее были сухи, бессонно, режуще сухо смотрели они в темноту. Душа расплзлась, как пыльная ветошь. Иной раз задержится Нора на давнем воспоминании, но тут же все и порвется с унылым потрескиванием...

Как идут они, например, по деревянному мосту — жара, мягко стучат высокие каблочки лакированных туфель, тайно от старшей сестры, их владелицы, ею надетых, на Илье рубашка с расстегнутым воротом, на ней темно-синее платье в точечку, выбитую в виде ковшей Медведицы, — “О, вы совсем, как звездное небо”, — но это брошено так, вскользь, больше ради красного словца, чем из галантности, и скорей к интересующей его теме: “Троцкизм — не политическое направление — это душевный строй, это характер”, — и вдруг, себя перебив: “Вы способны бежать?” — “Конечно!” — и вот пропустились по мосту, затем по откосу к дебаркадеру, от которого через минуту отчалит речной трамвай — еле успели вскочить, и, опершись на перильца, блестя очками: “Вы девушка моей мечты”, — говорит, улыбаясь, Илья. — “Почему?” — “А даже ведь не спросили — куда бежать и зачем? Я вас всю жизнь искал...”

Или как едут в розвальнях, ночь, снега, впереди едва слышимо бренчит колокольчик, ей тепло, угрелась в тулупе, живота не чувствует, или, вернее, ей так уютно с этим огромным тугим животом, беременным жизнью, а рядом Илья, тоже в тулупе, стоит к ней спиной на коленях, правит лохматой, в сосульках лошадю, и вдруг на раскате розвальни накренились, и Нора вываливается в сугроб и пока поднимается, не уключая, с животом и в тяжелом тулупе, лошади уже не видать, только слышен вдали скрип полозьев, а ей и не страшно, идет по полю одна, падает и смеется, встает и снова идет, и мир такой дружественный вокруг — откуда в ней это спокойствие, на краю земли, где ближе, чем в сорока километрах, ни

души, ни жилья, ни дымка, ни собачьего бреха?.. А потому, что знает, — у нее есть Илья, он спохватится, испугается, особенно дорог и мил ей этот испуг, это "ох!", когда, обернувшись, ее не увидит, он вернется, и вот уже возвращается (как жаль, что так быстро), и слышно, как хекает у коня селезенка, звенит колокольчик, и крик: "Нора! Нора, черт поberi!" — и вот, швырнув вожжи, соскакивает, бежит, спотыкаясь, навстречу, обнимает, отталкивает, бранится: "Бестолочь, ну что ты за бестолочь! Жива? Не ушиблась?"

О Господи... Куда же все подевалось? Откуда взялось это нынешнее? Не только ведь он ее, но и она уже часто не в силах его ни понять, ни принять. Заговорят ли о родственниках, уж он не преминет сказать про мужа ее сестры: "профессор в фетровых ботиках", а про свою же покойную мать: "эта поповская дочка", да о чем бы у них ни зашла речь — о судьбе Пастернака или о модной сейчас кукурузе — все не то, все враждебно, и кровь стучит в висках и в ушах, Нора близка к обмороку, а он носится, хлопая дверью, из комнаты в комнату или усядется перед Норой и, издевательски улыбаясь, покачивает ногой. Давно уже ясно обоим: надо расстаться, а что-то все-таки держит, что-то нерасторжимое...

Наконец она все же уснула, и вдруг его шепот, он сидит на полу у кушетки, гладит ей руку: "Норушка, дуся моя, что мы делаем с нашей жизнью?.." И — слезы, он легок на слезы, у него "слезный дар", плачут оба и обнимаются жарко, неловко, стучаясь лбами, локтями, она пытается усадить его на кушетку, тянет его, он противится, тогда она тоже сползает на пол, — смешная сцена, сидят двое взрослых людей на полу, в белье, оба рыдают — в окно заглядывает луна.

ЕСЛИ ИДТИ, ТАК ИДТИ

Нора умеет прощать — ну, не совсем, но знает, что надо уметь, и уж если прощать, то чтобы не поминать никогда, ни полсловом (это самое трудное), и она старается изо всех сил. Наутро — ни одного вопроса про Настю, словно и не было ничего, так, дурной сон.

Илья нежен, но не спокойно нежен, а как-то взвинченно, воспаленно. Она, впрочем, знает, что воспаленность эта не показная, а искренняя, как и ночные слезы. Он любит в себе эти благородные всплески, любит себя в этих всплесках, да и впрямь немало хорошего сделал он разным людям в такие минуты и, с удовольствием вспоминая, часто рассказывая об этом, он легко возвращается в прежнее состояние души, и спустя много лет, переживая все заново, добрея и умиляясь.

Но знает Нора и то, что чем выше пик подобного всплеска, тем глубже он вскоре раскается в нем, тем горше ей будет расплата. Поэтому, хоть она и простила его, но держится скованно, настороже.

Спасает Антон, который не понял сути вчерашнего происшествия, уловил лишь, что мама расстроилась, и рад мирному утру. Он то и дело заглядывает обоим в глаза, невинно шалит, слегка привередничает: "Фу, пенка!", уверенный, что сегодня это сойдет, и отвлекая (быть может, даже сознательно) внимание родителей на себя.

— Едем на дачу? — спросила Нора.

— Знаешь, — закуривая, ответил Илья, — раз уж мы в городе, зайдем в поликлинику по поводу твоей шишки.

— Ка-кой шиш-ки? Ну, папа, чудак! Это не шишка, а называется пе-ре-лом!

— Я про маму, — сказал Илья. — Не думай, что ты пуп земли.

Нора молчала. Ей не понравилось, как он сказал про "пуп", больно было смотреть на вытянувшуюся рожицу сына — грубо, неблагодарно, ведь так старался для них ребенок, — и не хотелось идти в поликлинику. Не стоило бы идти туда в таком душевном раздражении, но и спорить сегодня было нельзя.

"Шишкой" они прозвали обнаруженное ею на днях затвердение в правой груди. "Глянь, — сказала она Илье, вдруг заметив какое-то странное затверждение, — что это у меня?" Илья пощупал: "Правда... А ну-ка в другой". В другой ничего не было. "Рак", — сказала Нора и улыбнулась. Ни на секунду она не поверила в то, что это может быть рак, потому что единственный рак, который ей встретился в жизни до этого

дня, был рак носовой полости у соседской старухи, и старуха, не унимаясь, вопила от боли, и от нее дурно пахло... Рак — это было нечто такое уж страшное, некрасивое, чуть ли не стыдное, чего ни в коем случае не могло бы стрястись с ней. А тут просто чистенький бугорок под гладкой здоровой кожей, ни капельки не болезненный, и Нора произнесла это слово едва ли не из кокетства.

Днем она беспечно забывала о “шишке”, но вечером, раздеваясь, трогала и каждый раз изумлялась, что “шишка” на месте. Илья однажды ночью сказал: “Приедем в Москву — покажешься. С этим не шутят”. — “А они возьмут и отрежут, — шепнула Нора. — И ты разлюбишь меня”. Она продолжала в это играть, как в детстве играла, представляя себе кошмары и наслаждаясь ими в постели под одеялом. Илья подумал немного, будто примериваясь, и ответил очень серьезно: “Нет, я даже сильнее тебя полюблю. Ты станешь, как амазонка, а мне с самой юности, с моей комсомольской юности, больше всего на свете нравятся амазонки!”

Амазонка, скачущая на лошади и стреляющая из лука, это, конечно, эффектно. Илья — мастак на подобные фразы. И все-таки лучше бы не сегодня. Сегодня она не готова.

— Ну, что ж, — сказала Нора, вздохнув. — Если идти, так идти.

КИТАЙСКАЯ ПЫТКА

Позади, в коридоре, остались Илья с Антоном (был момент, когда показалось, что между ними и ею рвется какая-то нить), а она вошла в кабинет, вся красная, с двояким чувством стыда — вдруг это все пустяки, и — “что вы мне, милочка, морочите голову!” — насмешливо скажет доктор, но не менее стыдно будет, если все же окажется рак. И для нее, и для доктора наступит тогда минута тяжелой неловкости: он, пряча взгляд, примется бодро болтать, а Нора, будто ничего не заметив, станет разыгрывать перед ним идиотское недомыслие.

— На что жалуетесь? — наконец спросил врач, оторвавшись от своей писанины и сощуренно посмотрев ей в лицо. — Садитесь, слушаю вас.

Громоздкий, тучный, со странным черепом яйцевидной формы и без единого волоска, похожий на пожилого меланхоличного турка, он откинулся к спинке кресла, все еще держа авторучку в пухлой белой руке.

— Да вот... — улыбнулась Нора. — Какая-то у меня здесь "шишка".

Домашнее, интимное это слово повисло в тишине кабинета.

— Ну, ну, — чуть помедлив, поднялся он. — Разденьтесь.

Он намеренно долго не притрагивался к груди, измерял давление, пальпировал желудок и печень, прослушивал сердце и легкие, просил дышать-не дышать... Хрящеватый, с горбинкой нос и раchy глаза на одутловатом лице выглядели уныло.

— А теперь давайте, что там у вас, — он зашел к ней за спину, и атласные подушечки его пальцев одновременно легли на обе груди и, осторожно перебегая и нажимая, как на клавиатуру, ловко ощупали их.

— Подождите, пожалуйста, — сказал доктор и с неожиданной прытью, весь перекатываясь, точно мешок с арбузами, двинулся к двери.

Накинув на голые плечи кофточку, Нора сидела, ждала. Капала из крана вода за ширмой; вспомнился поразивший ее еще в детстве рассказ про старинную китайскую пытку каплями в темя; прилетела птица на подоконник, бойко повертела головкой, постучала клювом по жести, вспорхнула; на столе ровной стопкой лежали тетради с историями чьих-то болезней. "Корнфельд", — вытянув шею, неизвестно зачем прочитала она.

Вернулся унылый турок с маленьким, рыжим, веселым доктором. У того были жесткие красные руки, красная щетинка на красном лице, яркие голубые глаза и просвечивающие розовым, большие, как локаторы, уши. Он больно намял ей грудь и картаво сказал:

— Придется оперировать, дорогая.

— Рак? — спросила она.

— Ну вот, сразу рак! Существуют десятки, сотни различных новообразований. Вы же культурная женщина, а проявляете такое элементарное невежество! Слушайте сюда. Опухоль у вас свободно перемещается, края гладкие. Просто красавица, а не опухоль! Чик, и нет ее, не успеете даже глазом моргнуть!

Выражение лица у него было такое, словно речь идет о какой-то потехе: о том, чтоб среди зимы окунуться в прорубь или проехаться задом наперед на велосипеде... Забавно просвечивали на солнце его торчащие уши.

ПОДЗЕМНЫЙ ВЕТЕР

С этой минуты она больше себе не принадлежала.

Как в метро — едва лишь при входе опухнет горячим калориферным воздухом, и человек уже, хочешь-не хочешь, а вписывается в четкий, кем-то загодя, еще в чертежах, запланированный маршрут, и вот вливается в поток таких же безликих фигур и вместе с ними, стоя в затылок на эскалаторе, плавно спускается в преисподнюю, сворачивает к лестнице перехода, со всем стадом — при невидимом пастухе — гулко топчет по отдающему эхом длинному коридору, затем бежит по перрону, и, разве, одно оставлено ему право — выбрать, в какой сесть вагон, да и то не всегда хватает на это времени. С обвальным грохотом поминутно наскакивают поезда, двери, шипя, сами собой разъезжаются, пропускают народ и захлопываются, клацнув, словно поставив точку. А там уж человека несет потусторонняя сила и странным подземным ветром овеивает лицо...

— Мам, ты уже?

— Погоди, сынок. Меня кладут в больницу, Илья.

— Да? Что такое? — в его голосе наряду с удивлением сквозит и досада. (Илья немедленно озлоблялся при самой малейшей угрозе его покою, но почему-то свое озлобление он чаще всего направлял не по адресу). — А что говорят?

— Говорят, нужна операция. Подождите меня, я скоро... Иду, иду! — и Нора кинулась вслед за доктором.

— Нина Петровна, обзвоните онкологические больницы, скажите им "цито", ясно? А вы тут, голубушка, посидите пока в креслице, и что вы так побледнели, мне это вовсе не нравится, а то, что в онкологические, так эти операции — тьфу, ну просто щелкают, как орехи!.. Нина Петровна, пожалуйста, как выбьете коечку, сразу ко мне, а вы не вешайте носа, поверьте мне, деточка, у вас же сущие пустяки, — и, потрепав ее по плечу, рыжий доктор умчался, кланяясь направо-налево знакомым больным.

Из-за двери до нее доносился голос старшей сестры:

— Шестьдесят вторая? Мне нужна койка, женская, молочная железа, нет, у нас "цито"... Надо же, сразу отбой, вот гады. Боткинская, мне нужна койка, молочная железа, "цито"... А может, как-нибудь сделаете? Чтоб ты пропал! Первая Градская, вы меня слышите, девушка, не дадите нам одно место... да что они койками на базаре торгуют, что ли? Бауманская, у меня к вам великая просьба, коечка, женская, "цито", молочная железа... Да, опять, а что тут такого? — сейчас это модно... Ой, большое спасибо! Слава те, Господи, железные нервы нужны на этой работе. Ну, так.

Нина Петровна вышла пунцовая, встрепанная, сердито сказала:

— Завтра к двенадцати в Бауманскую, вот направление, поставьте в регистратуре печать, — и холодно, отчужденно скользнула взглядом по Норе, словно надеясь, что, если не проявлять ни излишнего любопытства, ни милосердия, можно отвадить, заклясть — чур, чур меня! — эту ужасную, клеймящую кого попало беду.

Нора заметила: люди отваливались от нее один за другим. Сначала унылый турок (едва лишь за ней и за рыжим доктором закрылась дверь кабинета, он не просто остался у них за спиной, а словно раз навсегда исчез из Нориной жизни), потом этот рыжий легко отодрал ее от себя, хотя и пыталась она за него уцепиться — пускай не руками, так жалобным взглядом, — и вот теперь Нина Петровна.

Однако надо идти и делать то, что велели: поставить печать, уехать на дачу и распрощаться с детьми, со всем своим прошлым, которое уже начало отпадать от нее по кускам, а утром явиться в Бауманскую — и будь, что будет...

“Как хорошо, когда от тебя ничего не зависит”, — пришла ей в голову странная мысль. Не думать, не выбирать, ввериться чьей-то, может быть, высшей воле.

Она огляделась вокруг: та куда-то спешит, тот понурился в кресле, этот спорит — “нет, вы уж извините, сейчас моя очередь, а не ваша!” — у всех на лице забота, у нее у одной никаких забот, никто не в силах что-либо с нее спросить, никому, ничему она не подсудна, неподконтрольна — у нее рак.

Нора медленно улыбнулась. Непонятная гордость вселялась к ней в душу. Она вздернула голову и так, с улыбкой, направилась к мужу и сыну.

— Сейчас поставлю печать и поедем, — сказала она.

Печать скрепила то, что смутно забрезжило в ней, — ощущение свободы. От тягостных обязательств, от низменной ревности, от всей этой путаницы в отношениях с мужем, от необходимости притворяться и лгать в самом главном, в своей работе, которая день ото дня становилась для Норы все нестерпимей, хоть брось и меняй профессию. Жизнь с ее неразрешимыми сложностями отступала, потеряв над ней власть. Свобода, свобода...

ЧЕЙ ЖРЕБИЙ ЛУЧШЕ

Однако в автобусе, по дороге на дачу, вся эта вымученная идея свободы улетучилась, не оставив следа. Каждая фраза сама собой выстраивалась у нее в голове, начинаясь с плаксивого “мало того, что я...” и оканчиваясь яростным: “и вот теперь еще это...” Она испытывала почти злорадство от воспоминаний о давно пережитых несчастьях и сердито отмахивалась от своей же собственной излюбленной мысли, что с течением времени эти несчастья удивительным образом перепла-

вились в богатство ее души, в основной капитал ее биографии.

“Мало того, — начинала она с блаженным внутренним всхлипом, — что я так намучилась в послевоенные годы, без угла, без прописки, Татку сунули по большому благу в детдом (настоящая “фабрика ангелов”, как тогда говорили), а меня кое-как запихнули в артель “Гужтранспорт”, должность моя называлась “культмассовик”, но я, в основном, подписывала ломовых извозчиков на государственный займ, и уж куда они меня только не посылали, и этот голодный обморок на Люберецком базаре, и синеющий на глазах химически-ядовитый кисель, который мы, чуть подкрасив морсом, варили из присланного мамой крахмала и ели, обжигая гортань, не в силах дожидаться, пока он остынет, а у Ильи открылась язва, его рвало одной кислотой, это было так страшно, и он однажды сказал: “Пора выбираться из этой клоаки” и вскоре бросил меня, сойдясь опять со своей знаменитой Дравич, той самой Марианной, что во время гражданской войны, на Кавказе, работала с Берией, носила наган, спала на газетных подшивках и, если верить его словам, “своими нежными белыми ручками расстреливала дашнаков”, по-моему, это ужас, но голос его дрожал от восторга и умиления, и что характерно, она даже мне представлялась натурой яркой, сложной, загадочной, скорее ранимой, чем железобетонной, перед которой я, подавляя свою неприязнь, ощущала себя человеком косным, маленьким и ущербным, и — “Ты не отдашь мне мой свитер?” — спросил, собрав чемоданчик, Илья (надо признать, спросил не слишком решительно), и эта минута, когда я поспешно стянула при нем свитер, и еще (нам обоим хотелось расстаться интеллигентно) пошла Илью провожать, но вдруг заявила: “Все, хватит!”, и он ушел от меня по шоссе, я долго смотрела, как он уходит, пока “кукушка” на переезде не заволокла его паром, и тогда вернулась в общагу, на хутор “Мальчики”, рухнула на кровать, за стенкой ругались матом, а я плакала так, что, казалось, вырву все свои внутренности, — и вот теперь еще это...”

Автобус трясся и дребезжал, изредка останавливался, входили новые пассажиры, шумели, толкались, на поворотах разом валились набок, при торможении сбивались вперед, затем так же дружно откатывались, кто хохоча, кто бранясь, а Нора, отвернувшись от сына, от мужа, от всех, тупо глядела в окно, перебирала обиды — ничтожные вперемежку с существенными.

“Мало того, что тогда в Тернополе, куда в самый разгар бандеровщины приехали мы с Ильей после года разлуки зализывать свои раны, меня чуть не убили во время ночной перестрелки, — а что, запросто могло быть, не в тот раз, так в другой, ведь только и знала мотаться по селам, как, впрочем, и раньше, еще в Сибири, в Ханты-Мансийске, — всю молодость я провела в разъездах, то в розвальнях, то в лодочке-душегубке, то в бричке, и эти ночевки на грязном полу, на сальных чужих перинах, на сеновалах, а ради чего? — ради мерзкой пафосной полулжи, и этот туман в голове, и вечная необходимость ежеминутно кому-то доказывать, что ты не верблюд, а в благодарность за ревностное служение, за эту моральную экзотическую хлыстовщину (мне, верноподданной по характеру, так хотелось быть заодно со всеми) — удар под ложечку — и когда! — на девятый день после рождения Антона записали в космополиты, выгнали из редакции (а газета, черт их дери, называлась “Вільне життя”), полгода мытарств, без работы, без денег, кончилось молоко, Антон заболел диспепсией, и этот старчески отрешенный взгляд поверх наших голов в пустоту, кто видел хоть раз такой взгляд у младенца, уже не забудет, не чаяли, что останется жив, еле-еле спасли, — и вот теперь еще это...”

В окна автобуса врывался свежий, настоенный на сосновой смоле ветер, чернел лес, блестели на солнце золотые пруды, однако же Нору ничто не могло утешить, и в глазах задвоилось от слез, когда сидящий сзади Илья похлопал ее по плечу и шепнул: “Не дрейфь, не такое выдюживали!”

Верно, выдюживали, и все-таки...

“А в Новой Каховке? — продолжала она смаковать свои горести, — разве я не выкладывалась до самого доньшка,

разве не полюбила я эту стройку, не поверила всей душой, что паразитская наша империя наконец-то выбьется из нужды ("Советская власть плюс электрификация" — эта формула крепко засела в умах), а выбившись, накормив народ, возможно, — чем черт не шутит? — откажется от имперской жесткой конструкции, над страной появится воздух, свежий озон, как после грозы, и легче станет дышать... И вот я вкалываю в лепной мастерской (в газету не взяли), варю клей для формовщиков, настоящая ведьма — на костре железная бочка, дым, копоть, жарница, таскаю мешки с цементом, ведра с водой, с песком, замешиваю совковой лопатой раствор, "...эй ты, поворачивайся!" — подгоняют набивщики, и я поворачиваюсь, руки-ноги дрожат, голова пылает, как сковородка, в глазах марево, а потом, когда перешла на плотину, в грунтовую лабораторию, пробы, пробы, сто проб за смену, собачишься с мастером, ссоришься с лаборантками, тут же, правда, и миришься, делишь по-братски арбуз и буханку хлеба, и снова и снова пробы, пока не добьешься проектной плотности — одна целая шестьдесят восемь сотых — проклятая цифра, сколько попортила крови! А однажды иду зимой в котлован — чучело чучелом: телогрейка, ушанка, ватные брюки и сапоги (со стороны не поймешь, не то баба, не то мужик), шагаю этак солидно, вразвалку, стараюсь подделаться под походочку работяг и вдруг понимаю: некуда падать, я в самом низу, ура! — ну-ка, где ваша власть, дармоеды? — и смеюсь, и дышу, глубоко дышу, впервые так глубоко и вольно за всю свою жизнь... а они как будто подслушали и в самую свистопляску с делом врачей навесили мне вредительство, все, как по-писаному: вызвали в спецотдел для любезной беседы, измордовали на общем собрании, публично грозили арестом, девки от меня отступились, "ушли в кусты", точно, как Шацкий и Ломинадзе в "Истории партии", но тут умирает Сталин, паровозы гудят, как шальные, над стройкой и городом патрулируют самолеты, у начальства явно "медвежья болезнь", выжидают, притихли, а тут — бац! — статья в "Правде" про социалистическую законность, и душу мою отпускают на покаяние, отделяюсь, как говорит-

ся, легким испугом, — а то что прогнали сквозь строй, безвинно вломили тысячу палок, неужто не в счет? Ведь если б не его смерть, пошла бы я по этапу, как пить дать!.. И вот теперь еще это...”

Автобус свернул к Степановскому, ехали в прохладе и сумраке елей, близко подступавших к шоссе с обеих сторон, до места остались считанные минуты, и Нора спешила додумать, словно от того, успеет она или нет, зависит ее судьба.

“Да, мало того, что после убийства Кирова выслали папу из Ленинграда, дали “минус пятнадцать” (не тогда ли все и сместилось в моем сознании — как же так, ведь страна наша самая лучшая, самая справедливая в мире?), и вот мы в Каловке — хорошенькое название! — под Уфой, и папа и все мы унижены, попраны, а уже после, в Вязьме, на строительстве шоссе Москва-Минск, его и вовсе забрали от нас навсегда, судило Особое совещание, и этот загадочный приговор: “десять лет без права переписки”, который, видать, скрывал под собою расстрел или же очень досадный для них неожиданный брак в работе, когда подследственный возьми да умри под пыткой (никто-никто из вернувшихся ни разу не встретил ни в тюрьмах, ни в лагерях, ни где-нибудь на этапе осужденных с подобной формулировкой!), увели человека из дома, и все, и конец, а следовательно, какой-то фанатик, а то и, по мнению сестры, клинический сумасшедший, сказал ей: “Забудьте его, — вам понятно? — вычеркните из жизни — он враг!”, и сестра подумала, глянув ему в лицо: “Душегуб, ты убил его!”, и мама с этого дня стала ждать, что придут и за ней, и совала мне перед сном золотые швейцарские еще дедушкины часы, говоря: “Спрячь их, тебя, возможно, не станут обыскивать, потом пригодятся, продашь”, и как было страшно, когда однажды заколошматили в дверь и — “Вот оно!” — прошептала мама, но это явились звать ее в понятия, брали соседа, и мама, как ни была напугана, все-таки отказалась: “Простите, но этого я не могу”, и какой тяжелый, з а п о м и н а ю щ и й взгляд уставил в нее чекист, однако же, обошлось, и маму, напротив, еще так приторно-ласково уговаривал на депутатском приеме маршал Егоров: “Выходите замуж, вы же совсем молодая”,

а, впрочем, через неделю портреты маршала повсюду сорвали со стен, на его место в Верховный Совет был выбран начальник Смоленской железной дороги, но бесследно исчез и он, а у мамы от всех этих ужасов началась бронхиальная астма, по двадцать приступов в сутки, и эти ее ночные хрипы и свисты, когда, казалось, сейчас, вот сию минуту она задохнется, словно пропал, улетучился воздух и в доме, и в городе, и в стране, и непонятно, чем дышат люди, но чем-то мы все дышали и дожили до двадцатого съезда, а мама тут-то и задохнулась и умерла за день до посмертной реабилитации папы, "за отсутствием состава преступления", — как мило сказано было в справке, — и деньги, выданные за его гибель (довоенная двухмесячная зарплата), пошли на ее похороны... Услышать в Верховном суде соболезнование, что вот, мол, в преддверье войны человек построил замечательное стратегическое шоссе, а его за это убили, отдать за клочок бумажки веру в его возвращение (надежда теплилась, несмотря ни на что, до последней секунды), вынести всю эту боль, всю эту непостижимость — зачем? Чтоб заболеть теперь раком? Удар за ударом, сколько же можно, за что?!"

Автобус, делая круг на площади у поселкового магазина, уже притормаживал, когда она мысленно, второпях, задавала Всевышнему этот вопрос, успев, однако же осознать — увы, ее жребий был не горше, чем у других, спроси у первого встречного, и он о себе такого еще порасскажет... Но, Боже, как сладостно было, собрав все обиды в кучу, в кои-то веки себя пожалеть...

ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР

Ужинали грибами. Тетя Домна с Татой ходили сегодня в дальний лес, за сторожку, и набрали полный короб лисичек.

— Чого ж це вы так неважно кушаете? — с фамильярностью близкого человека спросила Нору тетя Домаша. — Грибочки — деликатес! О-ой, як же ж красиво вони из травы вигляда-

ли, граммофончики эти, забачила — радая сделалась, просто ужась!

Васильковые, источающие бесконечную доброту глаза ее так и сияли.

— Спасибо, тетя Домаша, я ем, очень вкусно.

— Не смей кукситься, — сердито шепнул Илья.

Тата исподтишка наблюдала за матерью, и Норе было не по себе. Умная стала девочка, непонятная и словно немножко чужая. Вроде совсем недавно они с ней были одно существо, с общей кровеносной системой, и вот она отделилась, отпочковалась, будто заново родилась, — не дочь ее, не Сиаковский, приросший к боку близнец, а подруга, со своим собственным миром и строем мыслей, с правом не изнутри соболеznовать и судить, а извне. Возможно, поэтому Норе не удавалось найти верный тон. Она томилась за ужином и что ни скажет — во всем ей самой слышалась фальшь. Зато Илья себя чувствовал, точно рыба в воде.

— Наша мамочка, — разливался он с упоением, — завтра ложится в больницу, ей, вероятно, сделают операцию, но вы же знаете, какой она молодец, нисколько не трусит, правда же, Норушка? Она у нас не какая-нибудь жалкая барынька, которая стонет и хнычет от укола в белую жирную ягодичу! Наша мама пойдет с гордо поднятой головой, как мы когда-то ходили в атаку на белых, почти безоружные, в опорках, в драных шинелишках!.. — ему казалось, что все это к месту, а то, что он сам не ходил ни в какие атаки — безделица, если принять во внимание высшую духовную слитность его "я" с этим праведным "мы", и глаза его увлажнились.

Нора резко встала из-за стола, и тетя Домаша, вздрогнув, бросила на нее укоризненный взгляд. Она-то всегда своего хозяина слушала очень внимательно, стараясь не проронить ни звука, кивая и даже тихонечко повторяя за ним последнее слово каждой фразы.

Единственно, что искажало ее ясный и добрый нрав — это страх. Как существо подневольное, тетя Домна боялась едва ли не всех: милиционера, толстого прохожего в шляпе, продавца в магазине, врача в поликлинике, управдома, хозяина,

вообще мужчин — любого обладателя власти, самой ничтожной, у нее-то ведь не было никакой, ни над кем, — и в минуты страха, всегда готового стать паническим, менялась неузнаваемо, так что больно было смотреть на нее. Страх поедал в ней все лучшее: ее бесхитрость, прелестную не по возрасту, шаловливость, ее поразительную для неграмотной женщины деликатность. Поначалу, словно угаснув и отупев, она делалась вдруг не в меру угодливой, льстивой и была, казалось, способна на самый подлый поступок.

Но едва лишь страх ее отпускал, она восклицала с веселым смешком на своем забавном украинско-русском наречии, да еще и с вкраплением галлицизмов — она родилась в Бессарабии: "О-ой, уся мягкая стала — трусюсь, як бламанже!"

— Пойду прогуляюсь, — сказала Нора.

— Между прочим, — заметил Илья, — могла бы помыть посуду. Тетя Домаша и так тут крутилась одна целый день. Не купила же ты ее на невольничьем рынке!

Нора остановилась. Такого рода упреки действовали на нее гипнотически.

— Та я вымою, — еле слышно произнесла тетя Домна.

— Иди, мама, — отрезала Тата. — Мы прекрасно управимся без тебя.

— Правда?

— О чем говорить, иди.

Вот эта девочка ничего не боялась. Не поддавалась мистификации. Не то, что Нора и тетя Домна. Когда это с ней совершилось? Как будто она примкнула к какому-то новому вольному племени.

— Спасибо, — сказала Нора, медленно спустилась с веранды и побрела к полю.

Она хотела побыть в одиночестве. Надо было подумать. Она теперь вроде бы поняла, почему на нее напал рак. Потому что у всякого человека есть надежды, своя, пусть робкая, цель, но если надежды и цели эпохи не совпадают с его, личными, жизнь кажется безысходной, лишенной своего изначального смысла, и человек ощущает подавленность — не только нравственную, духовную, но и телесную. У него перерождаются клетки...

Нора сидела на лопухах за колхозной конюшней, смотрела на дальний лес, на небо, на клевер и чувствовала, что навсегда прощается с этим. Но вдруг осознав, что ей сладко прощаться, она взбунтовалась. В любовании собственной слабостью было некое чванство. Тогда ей и стукнула в голову мысль об опасном аристократизме этой болезни. "Нет, нет, не желаю, не будет того", — подумала Нора и встала.

Когда она подходила к даче, было уже темно. Ярko светились незавешенные окна веранды. По-видимому, лицо у нее было не слишком унылым, потому что Илья, едва взглянув на нее, бросился к ней с дурашливым криком: "Наша мама пришла, молочка принесла!", затормошил ее, закружил. Антон заливисто засмеялся, запрыгал на месте, а тетя Домаша, сияя глазами, помахивая платочком, прошла вокруг них павой.

Потом улеглись.

В темноте Илья сграбастал ее в объятия, крепко прижал к себе, зашептал: "Дуся моя, не бойся, я же с тобой, я не брошу тебя в беде, мало ли что случается в жизни, с кем не бывает, но люблю я тебя одну, помнишь, в Омске, как я носил тебя на плече, а тулуп, помнишь, как ты забралась ко мне под тулуп, а форточку мы заткнули подушкой, и как мы ходили, обнявшись, по коридору и говорили о будущем, какое оно будет прекрасное, и как после фильма "В старом Чикаго" я тебе обещал, что мы непременно там побываем, и разве Ханты-Мансийск не был нашим Чикаго? Худышка моя, я тебя вылечу, жизнь только еще начинается, смотри, какие у нас чудесные дети, и как сегодня Тата сказала: "Иди, мама", она меня тронула просто до слез, это уже человек, серьезный и взрослый, нам теперь есть на кого опереться, я каторжник, грубый мужик и часто тебя обижаю, но я исправлюсь, честное слово, мы будем учиться у наших детей, просто я взвинчен сегодня, я так за тебя испугался, ведь ты моя гордость, мой маленький храбрый воробышек", — и гладил ей плечи, волосы и целовал, целовал.

НЕЧЕСТИВЦЫ

Так, дремотно думая, вспоминая, почти не двигаясь, замерев, будто находясь в состоянии анабиоза, пролежала она в своей ямке до самой ночи. Жизнь палаты в тот первый день еще не задевала сознания, текла мимо. Словно сквозь сон слышала Нора отдельные фразы: "Боюсь грозы, особенно ночью. Молонья блиснет, а я, как курица, подкопаюсь к своему муженьку и нишкну", или: "Галина Сергеевна из двенадцатой, ну та, что с меланобластомой, дала мне рецепт сметанного крема — хотите списать?" Больные входили и выходили, звенели ложечками в стаканах, завели разговор про вчерашнюю телевизионную передачу и кто-то сказал: "Да что ж он так по-идиотски любил-то ее?" — а после ужина пошли всей гурьбой во двор.

Кроме Норы осталась в палате только одна старуха — тихая, древняя, ангельски-терпеливая, — у которой, как Норе немедленно доложили, была в груди разросшаяся до невероятных размеров опухоль, запущенная, уже с метастазами, и которую лечили "пушкой". Койка ее стояла на самом тычке, у двери. Старуха не лезла к Норе ни с разговорами, ни с расспросами, "всю дорогу молчит", — заметила про нее та, что боялась ночной грозы, и Нора с бабусей, хотя и молчали совсем по-разному, мирно провели целый час вдвоем, в тишине.

Норе почему-то казалось, — и это подтвердилось на следующее же утро, во время обхода, — что баба Надя (так ее все называли, в том числе и врачи) ничуть не страдает в больнице, скорее даже блаженствует, возможно, впервые, на старости лет, сподобившись неподдельного интереса к себе, внимания и заботы.

К свиданию с палатным врачом старуха готовилась истово, точно к светлой заутрене: аккуратно перестилала постель, взбивала подушки, долго расчесывала седые редкие волосы, заплетала их в тоненькую косицу и, широко улыбаясь беззубым ртом, не в силах сдержать ликующей, младенчески-

безгреховой этой улыбки, ложилась под одеяло, выпростав узловатые крестьянские руки, которым в этот момент не хватало разве зажженной свечи.

Черты характера и все поведение бабы Нади вырисовались, однако, позднее, а пока что Нора была благодарна ей за час подаренной тишины. Потому что, когда все с отбоем вернулись в палату и, вдоволь побегав, посуетившись, исполнив вечерние процедуры, приняв лекарства и погасив свет, наконец улеглись, никто не заснул, а еще долго хихикали, обсуждая некую Лельку, ну ту оторву из двадцать третьей, которой врачи сказали: "Отрезано только то, что вам абсолютно не нужно, детишек у вас хватает, прочее же на месте", и Лелька, желая это проверить, переоделась в уборной и в мертвый час тайком удрала домой, а приехав назад, сообщила, что все оказалось тип-топ, Валерка вообще ничего не заметил и остался вполне доволен!

Но и потом, когда отсмеялись по этому веселому поводу, и, постонав, побряхтев, повернулись каждый к своей стене, тишина не настала, — дышали все вразнобой, кто храпел, кто тихонечко всхлипывал, скрипели кровати, в коридоре отчаянным шепотом жучила няньку сестра, тарахтел мотор во дворе, — подъехала "скорая" — и под самым окном санитары с грохотом выволакивали из машины носилки, на асфальтовом пяточке гулко раскатывались их реплики: "Берись, да не так, дубина, левее, давай на себя заводи!", но там, видать, что-то заело, носилки заклинило намертво, и больного пришлось тащить на руках.

Больница жила своей жизнью, звенел телефон: "Елена Ароновна, — звала сестрица дежурного доктора, — спуститесь ко мне на третий", — и пошла суматоха, ставили раскладушку, кого-то, — наверно, вновь поступившего, — укладывали в коридоре, тот говорил, что его тошнит и просил принести ему тазик, нянька ворчала: "Где ж я им напасусь тазов?", но сестра приказала найти, и тогда она его шваркнула об пол так, что, поди-ка, слышно было на всех этажах. "Да-а, — подумала Нора, — аристократизмом здесь что-то не пахнет!" В палате зашевелились, одна из женщин жалобно произнесла в

темноте: “Вот паразиты, чего они там с ума посходили?”, и снова все принялись стонать и вертеться на своих скрипучих кроватях, как нечестивцы в аду.

ИГРА

Была у Норы в той прежней, давнишней жизни игра: складывать из причудливо вырезанных кусочков фанеры картинки к сказкам Перро. Фанерки эти, напоминающие ярко расцвеченные амебы, подгонялись друг к другу лишь с превеликим трудом, и стоило чуть ошибиться, как образовывались пустоты, в которые уже ничего не хотело влезать. У Красной Шапочки не хватало корзинки, у Золушки — не отыскивалась хрустальная туфелька.

Нечто подобное получилось у Норы при первом знакомстве с соседками по палате. Впечатление о каждой из них было каким-то дырявым: порой в нем отсутствовали наиважнейшие элементы. А ведь Нора всегда так гордилась своей проницательностью, умением раскусить человека (если это, конечно, не какой-нибудь уникум) почти что с ходу, с налету. А что тут за уникумы? Простые обыкновенные люди.

Взять хотя бы Иоганну Карловну с койки напротив. Врач-пульмонолог, работает в диспансере, Норе уже известно, что мать и родная сестра ее умерли от рака желудка. Наследственность, однако, Иоганна Карловна отрицает: “Просто у них, у обеих, была дурная привычка есть все прямо с плиты, с пылу, с жару, а это для слизистых — гибель, возникли сначала язвочки, лечиться — как следует не лечились, болит — ну и ладно, а жили они в Казахстане, в Иргизе, Богом забытый райцентр, врачи никудышные, проморгали, и вот результат — переродились язвочки в опухоль. Ну, а поскольку я как-никак сама медик, — дай, думаю, прооперируюсь от греха”.

Лицо у Иоганны Карловны осунувшееся, под глазами круги, но улыбка задорная, правда, по мнению Норы, натужно-задорная, и то еще настораживает, что она, пользуясь своим старшинством (если не принимать в расчет бабу Надю),

постоянно делает всем замечания: “Фу, Паня, кель выражанс!” или: “Берта, не фокусничайте!” Даже Норе успела сказать с намеком: “Пора, красавица, проснись”, и Нора улыбнулась с привычной готовностью, как бы удостоверяя свою лояльность.

Зато взгляд у Иоганны Карловны часто бывал весьма ироничным, в особенности, когда она, вздернув брови и язвительно скривив рот, лежа читала исторические романы. Как правило, это были не самые лучшие книги на свете, но, впрочем, и не из худших: “Мария Стюарт” Цвейга, “Испанская баллада” Фейхтвангера, а Иоганне Карловне то ли казались смехотворными описанные там средневековые страсти, то ли, напротив, она искала и находила в тексте какие-то аналогии с нашей жизнью, и тогда ее скепсис относился, скорее, к современности...

Словом, не складывался у Норы, что называется, “стройный образ” Иоганны Карловны — быть может, не доставало на шляпе страусового пера, а, быть может, куда-то запропастилась шпора.

Или взять пресловутую Паню: работает приемщицей в прачечной, муж — водитель троллейбуса (она произносит “тролебус”), дочь у нее “мастер” (имеется в виду парикмахерша), а лексика такова, что Иоганна Карловна, если и не сделает ей замечания, то бросит укоризненный взгляд, — “оторва”, “тип-топ”, “всю дорогу молчит” или это ее бесподобное “я тебя в упор не вижу”. Ну что, казалось бы, в ней неясного? Проще пареной репы — вынимай из мешочка фанерки и складывай фигуру мешаночки с московской окраины. Ан — не выходит.

Однажды завела она разговор про сына — он был в армии, где-то в Сибири — и вдруг по наивности выложила такие подробности его службы, о которых в этой компании “с боруда с сосенки” лучше бы умолчать.

А говорила она вот о чем: что, мол, Игорь работал там в подземелье, и в одно прекрасное воскресное утро их отделение привезли на работу, велел следить за приборами. Каждый сидел в своей камере, как вдруг загорелась красная лампочка

и так заверещал, загудел какой-то там счетчик ("уж не Гейгера ли?" — подумала Нора), что все они повыскакивали из камер и увидели, что гудит весь туннель, а электричка в тот день не ходила (потому — воскресенье), сказано было, что придет за ними только к концу смены, и тогда они побежали по шпалам, и туннель гудел, как психический, и на стенах мигали красные лампы, а сзади их еще догонял какой-то кошмарный шорох и писк — это была "крыса", целые полчища крыс сплошной рекой неслись по туннелю, так что пришлось переждать, пока, залезая друг другу на спины, в два, нет, в целых три этажа, крысы прочешут мимо, а потом ребята помчались дальше, к горлу туннеля, туда, где в свинцовой будке стоял часовой, еще оставалось семь километров, а когда бежать уже было всего-ничего, Игорь упал и сказал, что все, больше не может, конец, но тут Ванька Хватов, сержант, спасибо великое, заставил его подняться, да матом, матом его хорошенько и, когда, наконец, они выскочили за зону и чурками попадали в снег, — нате вам! — обнаружилось, что одного солдатика где-то в пути потеряли, чучмека по имени Иламан (здесь Иоганна Карловна, не выдержав, перебила: "Фу, Паня, что еще за чучмек, как не совестно, право!", на что та даже не отмахнулась, словно не слышала), и Ванька Хватов сказал: "Ребята, неужто бросим его? А ну, кто со мной?", и тогда ее дурошлеп поднялся с сугроба: "Мать, не мог я иначе, — объяснил он ей, — в тот момент, говорит, решалось, кто я есть, человек или фраер", ну, и пошли назад, и сам часовой им сказал: "Вам что, ребятки, жизнь надоела? Туннель-то — аж воет", но они не послушались, дошли до места, где, точно помнили, еще был Иламан, а там как раз ответвление (приотстал, видать, от своих дружков да и свернул не туда), искали-искали, а он, сердешный, как провалился, может, крыса его съела, только больше того чучмека начальство даже не поминало, как и не было человека, а энтих, всех до единого, на проверку возили в город и оказалось, много что-то они схватили рентгенов, а Ванька Хватов с ее Игорьком — даже по несколько сот, так что списали их подчистую.

Ну, как это все понять? Правда, назвала она своего Игорька "дурошлепом", что в ее образ в общем-то "вписывалось", но рассказ в целом да и само словцо окрашены были такой материнской гордостью, что Нора не могла не признать: в картинку под названием "Паня" явно попали чужие фанерки, которые некуда вставить. Так, может, ошибка в эту картинку вкралась уже изначально?

Или вот Берта, которая вечно "фокусничает". Что о ней толковать? Работает в "комиссионке", специальность у нее "шахер-махер", любимое выражение: "Я вам это устрою", даже в больнице ходит в бриллиантовых серьгах, больничную пищу не ест принципиально, вслух говорит, что она "для сви-ней", но тем, что приносят из дома, делится щедро (Норе кажется, впрочем, что движет ею желание оградить себя от упреков в еврейской жадности), попеременно ходят к ней трое мужчин: один — это муж, Ося, тоже какой-то делец, очень к ней нежный, внимательный: "Берточка, что тебе нужно, скажи, я все достану", и точно — из-под земли достает, второй, — как видно, любовник, Борис, к его приходу она основательно мажется (по выражению Пани — наводит на себя марафет), в то время как перед Осей только и знает, что хныкать, третий — красавец-мальчишка лет двадцати, Левчик, по всем признакам — сын, но когда Томка, шпалоукладчица, однажды спросила: "Сынок ваш, верно, студент?", Берта ответила: "Да, и не какой-нибудь, а кибернетик, но это приемыш", и поскольку от любопытства у всех разгорелись глаза, она рассказала историю, как в сорок восьмом у них на площадке, забрали соседей, остался ребенок, вот этот Левчик, и как они с Осей сначала просто подкармливали его, но потом, когда мальчишку чуть не отправили в детприемник, они, немного поколебавшись, усыновили его и теперь не жалеют, мальчик — это что-то особенное, солнышко в доме, а родители, выйдя из лагеря, в Москву не вернулись, поселились в Крыму, в винсовхозе, у матери Левчика в лагере открылась чахотка, но сын не забыл стариков, навещает их каждое лето, уж можете ей поверить, об этом она позаботилась, да его и заставлять не приходится, говорит же она, что мальчик — это что-то особен-

ное, и разве не подлость была бы бросить больных стариков, а Левчик вырос не подлый, чистое солнышко, и она и Ося души в нем не чают, и старики его, хотя и со странностями, а странности у них — это нечто! — рассказать — не поверят, но люди они абсолютно честные, прямо-таки чересчур, и она, Берта, даже слышать не хочет, что у нас зазря не сажают, вот именно, что зазря, и ей наплевать, если Вера Георгиевна, или кто-то другой, пускай хоть сам прокурор, товарищ Беляев, который вконец истрепал ей нервы, ее за это осудит, но она не станет скрывать, что они с Осей регулярно собирали им в лагерь посылки, да, да, и можете теперь ее резать!

“Вот вам и Берта”, — словно кому-то в укор сказала Иоганна Карловна.

А то еще Аля, студентка педвуза. Эта девушка понравилась Норе с первого взгляда: баскетбольного роста, с прямыми, до плеч, и белыми, обесцвеченными перекисью волосами, вся плоская, как доска, но с высокой и пышной грудью, той самой грудью, в которой нашли подозрительный узелок, — Аля словно нарочно кем-то была задумана, как живой экспонат акселерации молодежи. Но при этом — ни капли инфантилизма, лицо, хоть и нежно-розовое, зефирное, всегда задумчиво и серьезно, светлые брови сдвинуты, и когда на нее ни помотришь — сидит читает, прикрыв ладонями уши, завесившись от всех волосами и скруглив свою длинную узкую спину так, что можно пересчитать сверху донизу все позвонки. И ведь чем увлекается этот смешной продолговатый ребенок! Руссо, Монтескье, Монтень!.. Иногда она что-нибудь говорит — глаза совершенно хмельные, подернуты дымкой восторга, а голос далекий, едва слышный, и доносится словно с другой планеты, преодолевая помехи материального грубого мира.

“Послушайте, нет, вы только послушайте, — взывает она: — Несчастье постигает народ, когда те, кому он доверился, стараются его развратить, желая этим скрыть свою собственную испорченность. Чтобы он не заметил их властолюбия, они говорят ему о его величии; чтобы он не заметил их алчности, они постоянно потакают его собственной алчности”. И прочи-

тав что-нибудь в этом роде, Аля вновь утыкается в книгу.

Даже Вера Георгиевна, которой должен быть чужд этот тип людей "не от мира сего", добродушно прозвала ее Аэлитой. "Нет, нет — возразила Иоганна Карловна, — помните Солнцева в этой роли? Она была черная, роковая, женщина-вамп, а наша Аля — Селена". Но Аля ее уже не услышала, отлетев от земли в космос, остальные не поняли, переспросить постеснялись (Вера Георгиевна — чтобы себя не ронять), и прозвище Аэлита так прочно прилипло к Але, что кое-кто из других палат считал его за полное ее имя.

"Вот бы свести с ней Тату, — подумала как-то Нора, — авось, с ее легкой руки, и она увлечется историей философии", но тут разыгралась сцена, несколько ее покособившая. Ораторствовала во время обеда Вера Георгиевна, распространялась на свою любимую тему о положении женщин в Советском Союзе (она какая-то профсоюзная деятельница), и Паня, конечно, сказала: "Да будет вам заливать!", Роза-татарка, маляр по профессии, лениво заметила: "Ох, совсем вы оторванная от жизни", а Томка-шпалоукладчица кинулась спорить: "Заглянула бы лучше в нашу контору, чем языком-то молоть, — ведь что ни мужик, то нами командует, что ни баба, то горбит, а шпалы, они, между прочим, чижолые! Я через шпалы-то эти и угодила сюда — крестец как-то раз задела, он и начал болеть, а ты говоришь — положение!"

Норе тоже было, что вспомнить, хотя бы о Новой Каховке, где женщинам закрывали наряды по двенадцать рублей на старые деньги, а мужикам — по сорок, и мастер объяснял это тем, что мужчина, себя уважающий, за копейки ишачить не станет, ему подавай прожиточный минимум, ну и ломаешь голову, как ему натянуть: то двойную перекидку запишешь, то еще что, а женщина, как бумага, все стерпит! И Нора еле сдержалась, чтобы не ляпнуть: "Вот так у нас, Вера Георгиевна, обстоит с оплатой за равный труд!"

Но тут Аля, неожиданно очнувшись от своего забытья, — откуда возьмись и голос и трезвый взгляд — резко одернула Томку: "Можно и нужно спорить, но почему ты всегда так снижаешь уровень разговора? При чем тут крестец?" — "А при

том, — заорала Томка, — что, где у нас техника безопасности ваша хваленая, где подъемные механизмы? Начальства кругом — аж в глазах черно, а работаем, как при царе Горохе, бабым “пердячим паром”!” — “Томка, Томка!” — залопотала Вера Георгиевна. “Вот это врезала, молодец!”, — хлопнув себя по ляжкам, одобрила Паня. Роза злорадно расхохоталась, Иоганна же Карловна, против обыкновения, смолчала, только ехидно скривила губы. Мечтательница Селена зарделась, как маков цвет, и углубилась в божественного Монтеня, а Нора опять пришла к выводу, что не так уж она прозорлива, как ей представлялось, что жизнь и люди таинственны, всюду зияют загадочные пустоты.

КАСТА

Но такие “отвлеченные”, по выражению Веры Георгиевны, разговоры были все-таки редкостью, в основном же в палате мусолили тему болезни. И странно: каждая все досконально знала о прочих, относительно же себя пребывала в полном неведении. Вначале это казалось Норе притворством, но потом она убедилась — и тут тоже нельзя судить с кондачка.

Иоганна Карловна несколько раз и даже очень настойчиво повторяла, что у нее — не рак. Почему? Неужели и впрямь она в это верила? Или так же, как Нора, боялась признать, что ее разгромила эпоха? Или считала нескромным относить себя к столь “родовитым” больным? Бить на жалость, заранее зная, что непременно последуют лицемерные опровержения? А может быть, ей претила показная бравада? Или просто она стояла на страже декорума, который усиленно насаждался здесь персоналом и соблюдался неукоснительно всеми больными?.. Все это было пока не ясно. Но характерно, что неприличие заключалось лишь в трезвом осознании собственных обстоятельств, про других же болтали без зазрения совести, с поражавшей Нору жестокостью и цинизмом, ничуть, однако, не связанным с отношением к данному конкретному человеку.

Стоило, например, Иоганне Карловне выйти на минуточку из палаты, как все торопливо, наперебой, с горящими от возбуждения глазами, принимались обсуждать ее положение: "Чудачка, как же не рак? А вчера пожаловалась Елене Ароновне на свинцовый привкус во рту — первый признак! У меня же вот нет свинцового привкуса!" (Вера Георгиевна). "Точно, точно, — кивает ей Томка. — Завсегда при раке желудка свинцовый привкус, я тоже слыхала! ("Большой знаток!" — усмехается Нора). А мать ее? А сестра? У ней же наследство какое... Ой, тихо, девки, идет".

Но едва отлучается Вера Георгиевна, та же самая Томка (вообще-то милое, доброе существо) с презрением пожимает плечами: "Это надо же! Верушка наша, смех, да и только! Нет, мол, свинцового привкуса! А не жрет ничего? А отрыжка? Да вчера же говорила — быдто камни под ложечку понапиханы, самый рак-то и есть!"

И никто не одернул ее, даже Иоганна Карловна. Лежала, читала, а, возможно, — прислушивалась к своим ощущениям.

Всех терзали страх за себя и душевная боль, которые не выплескивались наружу отчасти из осторожности, из суеверия — как бы сказанное словами, вслух произнесенное не закрепилось за ними, не превратилось бы ненароком в самостоятельную, не зависящую от их воли реальность.

Но и не говорить о болезни совсем — было невозможно. Требовалась разрядка, иначе ведь и свихнуться недолго, и, едва представлялся случай, эти несчастные, прервав на полслове беспечную болтовню про тот же "сметанный крем", или "тюлевые накидки", или "костюмчик-джерси" ("Я вам это устрою") — болтовню, что всего минуту назад их так, казалось бы, занимала, — с каким-то мучительным наслаждением пускались в дебаты по поводу эмбихина, от которого Роза-татарка прямо-таки погибает, блюет и блюет, да и как, поди, не блевать, эмбихин-то это иприт, а у нее, конечно, уже метастазы, профессор ей на большом обходе ощупывал селезенку, и если так, то Розе капут, уж это как пить дать, и Томке тоже что-то не светит, не жилец она, не жилец, у ней, вполне возможно, саркома, тогда помрет еще до Октябрьских, о, Госпо-

ди, милостивый, а муж-то как ее любит по-ненормальному, определенно трехнется парень. Ну, это ты брось, чепуха, кобели они, все до единого, фу, Паня, вы же этого сами не думаете, вот именно думаю, Карловна, как не думать, когда, вон, к Любове Михаловне, пока ей не сделали операцию, каждый день забегал с работы супружник, а с тех пор, как ее уложили в палату смертников, и моча через трубку каплет у ей в бутыл с-под гамзы, только Юра-сыночек когда-никогда и заглянет с цветочками, а муж, чай, объелся груш и носа не кажет, ах, Паня, Паня, откуда вы знаете, может, он просто в командировку уехал, да, Карловна, миленькая, я ж не первый год на свете живу, знаю их, паразитов, меня на мякине не проведешь! — и такая тоска звенит в ее голосе, что Нора вдруг понимает: для видимости называя других, они, по сути, всегда говорят о себе, о своем, и — вот парадокс! — не только из суеверия, но также из целомудрия столь прямы, беспощадны их речи.

СГОВОР

И все-таки, слушая их разговоры несколько свысока, Нора должна была вскоре признать, что они увлекали ее до страсти. Каждое слово жадно ею ловилось, подхватывалось, любая деталь занозой впивалась в сознание. Эмбихин... Да нет ли другого лекарства? Ну, не варварство ли лечиться ипритом? А впрочем, не ей судить. Хотя эмбихин, как будто, при раке груди не дают, а вот из чего тиотэф — никто не имеет понятия, надо бы выяснить. Но что если вдруг и ее под "пушку", как бабу Надю (чем резать, так, может, оно и лучше), у кого бы спросить, посоветоваться... Да что-то о ней позабыли, заглянула тогда в палату Елена Ароновна, и все, и пропала, у нее сегодня отгул за ночное дежурство, а завтра у них вообще выходной, в субботу и воскресенье врачей днем с огнем не найдешь, не больница, а вольница, теперь уж, все говорят, до большого обхода, до понедельника, вот вам и "цито"! А у бедной Томки, наверно, саркома, и это — запомнить! — страшнее, чем рак, у Розы, из-за какой-то невиннейшей штучки на

шее оказалась поражена селезенка, на среду назначена операция Пани, она свято верит (а может, не верит), что ей всего-навсего удалят эрозированные участки, но палате известно: операция предстоит радикальная, полостная.

Нора внимательно наблюдала за Паней со смешанным чувством режущей жалости к ней, но вместе и с любопытством. Словно издалека глядела она на саму себя, на будущую "себя", перед с в о е й операцией.

Настроение Пани менялось, точно погода в ветреный день: минуту назад хохотала, как полоумная, ерничала — вообще все эти клейменные, прикованные к тачке своей болезни каторжницы соперничали друг с другом в удалстве, бесшабашности — и вот уже огрызается, плачет, рассорилась с Томкой, но тут же вдруг и затихла, легла, закинув голую белую руку за голову, и лицо ее стало таким значительным, важно-достойным, серьезным, будто и не она это вовсе, а схимница, праведница, наподобие бабы Нади.

Думала Нора и о Елене Ароновне, сопоставляла свое впечатление с тем, что здесь о ней говорилось, опять и опять вспоминала, как та, зайдя ненадолго в палату после дежурства, подсаживалась к каждой больной, о чем-то тихо их спрашивала, неофициально, приватно, — если можно прилепить это слово, старинное, мягкое, чуточку вкрадчивое, к женщине, с на редкость замкнутым, неподвижным, будто из мрамора выточенным лицом. Внешность ее была не слишком еврейская, несмотря на припухшие веки, солидный нос, темные и курчавые, выглядывающие из-под докторской шапочки волосы. Она напоминала, скорее, римского гладиатора, с этим ее волевым подбородком, трагическим выражением умных глаз, широко развернутыми плечами, большими, пластичными, сильными руками хирурга.

— Это вы вчера поступили? — спросила она у Норы.

— Да.

— Что у вас?

— Молочная железа, — кратко ответила Нора, угадав шестым чувством, что слово "шишка" здесь неуместно — оно вызовет у Елены Ароновны лишь ироническую гримасу.

— Посмотрим, — сказала она, присаживаясь на койку.

Ощупала Норе грудь и, прищуренно глядя куда-то мимо, задумалась — не столь надолго, чтобы это молчание, расцененное, как знак серьезной угрозы, испугало больную, а ровно на тот, ни мгновением дольше, отрезок времени, который был нужен для осмысления данного случая. Все это Нора увидела своим, теперь обостренным зрением и даже слегка кивнула Елене Ароновне, словно одобряя и поощряя ее суховатую деловитость. В свою очередь и Елена Ароновна посмотрела на Нору, как бы желая понять, чего она стоит уже в мирском, человеческом смысле, и, заметив этот кивок, явно осталась ею довольна.

— Прodelаете анализы, — сказала она, поднимаясь, — а в понедельник, во время профессорского обхода, наметим вашу дальнейшую, скажем так, трассу, — на этом слове она слегка вздернула уголки своих плотно сомкнутых губ, этой полуулыбкой, точно железной скобой, скрепляя их обоюдное расположение и негласный сговор.

В чем состоял сговор, Нора, в который раз мысленно прослеживая всю сцену, вплоть до этой полуулыбки, в точности объяснить себе не могла. Ей хотелось внушить Елене Ароновне, что, не в пример остальным, она не нуждается в позлащенных пилюлях, ее бы больше устроило знание горькой правды, и это — без дураков, не для виду, не так, что просишь: "доктор, скажите мне все без утайки", а сама лишь того и ждешь, что тебя обманут. Однако уразумела ли это Елена Ароновна, а если уразумела, то не одумается ли после, захочет ли рисковать душевным состоянием больной, — она была не уверена.

Но все же они о чем-то договорились, и Норе это было приятно.

ТАЛИСМАН

Забившись впервые в ямку своей больничной постели, свернувшись клубком, желая лишь одного — спрятаться в ней от всех, провалиться в нее и заснуть, — она не подозрева-

ла, что ямка эта вместе с кроватью окажется, словно в каком-то быстро мчащемся поезде. Далеко-далеко уехала Нора за эти три дня. Дом и все прежнее, милое ей и немилое, безвозвратно отстало, оторвалось. Горько было уезжать от детей — чуть вспомнит сломанную руку Антона или Таткины любящие, такие пронзительные глаза, и сердце немеет, заходится болью, однако — что притворяться? — лишь на минутку, и вот она снова едет, грохочут колеса, что-то мелькает, мелькает, новое, незнакомое, кем-то силком навязанное, но поневоле засасывающее. Она с охотой покоряется обстоятельствам, чувство долга, вечный ее поводырь, заметно ослабило хватку, напоминая теперь о себе лишь редкими, зато острыми, как игла, укорами совести, на которые, впрочем, есть, заготовлен Норой ответ: “аженевиновата”.

В самом деле, а если б арестовали ее? Если б она умерла? Ведь как-то бы там без нее устроилось. Этим она пытается заглушить, одурманить совесть, которая только вяло отругивается расхожими формулами: “Но пока ты еще жива. И в запас тебя никто не уволил”. А Нора твердит свое: “аженевиновата” и ропщет: “отстань, я устала, устала!”, но вдруг зажигается злостью: “от этой подлой необходимости, которую я обязана осознать, от жизни!”, но тут же и осекается: “Дети. Бедные дети. Прощайте”.

В субботу вечером, когда свет уже был погашен и многие спали, Нора, уютно устроившись в своей ямке и мчась куда-то под мерное постукивание колес, неожиданно вспомнила, что сегодня — день рождения ее старой доброй подруги Юли. Тотчас два голоса в ней завели привычную перебранку: “Ну и что, меня нет”, — произнес голос той, что ехала в поезде. “Врешь!” — сварливо ответила та, что осталась в прошлом. “Земное больше меня не касается”, — заявила первая. “Дезертир!” — совсем уже неуверенно куснула вторая. И, возможно, именно потому, что голос, некогда такой властный, теперь тушевался и пасовал, Нора решительно поднялась с кровати и вышла в тихий и темный уже по-вечернему коридор. Только вдали, за ширмой, где сидела и что-то писала сестра, слабо светилась настольная лампа.

Подойдя и встав за спиной у сестры, которая, конечно, и не подумала к ней повернуться, Нора спросила:

— Можно от вас позвонить?

— Нельзя, — сказала сестра, продолжая писать.

Рядом на плитке что-то яростно булькало и позвякивало в хромированном автоклаве. Норе был виден лишь краешек розовой нежной щеки, ушко с нарядной голубенькой клипсой да золотая туманность подсвеченных лампой волос из-под крахмальной, напоминающей убор монахини шапочки. И то ли монашеский колпачок, то ли невинная детскость этой суровой владычицы автоклавов и шприцев все же подтолкнули Нору сделать попытку ее смягчить.

— Понимаете, — начала она, — я только что вспомнила, что сегодня у очень близкого и дорогого мне человека...

— Нельзя, — перебила сестра.

— Да я две минутки, честное слово.

— Нельзя, — повторила та, все так же не отрывая пера от бумаги.

(Что там строчила юная хамка с прозрачным, сверкающим облачком надо лбом и висками, с этим нимбом святой?)

Нора продолжала стоять, точно ее пригвоздили к полу, и сестра, наконец, обернулась. Круглые, широко расставленные глаза, крутые скулы, вздернутый нос, большой, презрительно сложенный рот — все могло быть прелестно, а было уродливо. Если верно, что каждый похож на какое-нибудь животное, то в эту минуту на Нору глядела рысь.

— Марш, марш в палату, больная! Не терплю, чтоб стояли у меня за спиной. Кто вас знает, еще тукнете по башке!

Нора не нашлась, что ответить, и отступила за ширму, в тень коридора. Так ей, кретинке, и надо. Разве не глупостью было вообразить, будто за стены больницы не проникает наружная жизнь? Негде спрятаться от нее, никуда не уехать. "Кто вас знает, еще тукнете по башке". Это же нужно придумать!

Их разговор, как видно, слышал больной, поступивший три дня назад и до сих пор лежащий в коридоре на раскладушке. Тот самый, которому нянька шваркнула тазик. Нора

уже успела приметить этого человека. Она в нем чувствовала что-то необычайное. Худощавый, седой, в очках, с черными, бархатными, совершенно косыми глазами — один, как говорится, на вас, другой — на Арзамас, но полными доброты и к вам, и к чему-то неведомому и дальнему, подразумеваемому под "Арзамасом" — человек этот странным своим взглядом, казалось, обнимал, обволакивал целый мир.

Иногда он раскладывал на табуретке замысловатый пасьянс, а чаще всего — просто тихо лежал, улыбаясь каждому проходящему, одинаково ласково, что больным, что профессору, что санитарке. Однажды Нора его увидела во время приступа боли — настоящий мертвец, бледный, с заострившимся носом, с закрытыми веками (очки он крепко сжимал в кулаке с побелевшими косточками), но губы, дрожа и подергиваясь, все-таки силились сложиться в улыбку.

И вот человек этот вдруг сказал:

— Не огорчайтесь, на лестнице есть телефон-автомат.

— Да-а? — протянула она. — Я не знала... И нужна ведь монетка, а у меня...

— Возьмите, пожалуйста. Я вам приготовил.

Он в темноте протянул руку, и у Норы в ладони очутилась горячая, будто из пламени вынутая монетка.

— У вас жар? — спросила она.

— Нет, нет, ничего, — сказал он. — Идите, звоните.

— У вас жар, — повторила Нора. — Я позову сестру.

— Ну что вы, не надо, мне хорошо. Сейчас совсем хорошо, поверьте. — И добавил после молчания: — Прекрасно, что мы не видим друг друга.

Нора, не двигаясь, стояла перед ним в полутьме коридора, только слабо серела подушка, временами взблескивали очки да денежка, точно крохотный талисман, пекла ей ладонь.

— Кто вы? — спросила она.

— Потом, — мягко ответил он. — Сегодня не надо. Вы разве не чувствуете?

— Да, — прошептала Нора. — Спасибо.

— Если угодно, — сказал он, когда она, как сомнамбула, двинулась прочь, — завтра, или в любой другой день, подойдите ко мне, я вам погадаю.

— Что?! — она даже споткнулась и замерла.

Потом она вышла на гулко пустую, освещенную синей лампочкой лестницу и увидела на стене телефон. Опустила монетку, набрала две первые цифры и вдруг поняла, что не хочет, не может расстаться с денежкой. Нажав на рычаг, она ее вынула и крадучись вернулась в палату. И так и уснула, держа талисман в руке.

ЖЕЛЕЗНАЯ КОМЕНДАНТША

Солнце сквозь тонкую занавеску нажарило ей голову. Двухкопеечная монета валялась на одеяле, ярко сверкая в желтом луче. "Вчера было что-то хорошее", — смутно припомнилось ей. Но некогда было обдумывать. И Нора, как заклинание, повторила вчерашнее слово: "потом".

Сегодня к ней обещал приехать Илья. Она и сама не знала, хотелось ли ей откровенного с ним разговора — один на один, с глазу на глаз — или просто отвлечься, рассеяться, поболтать ни о чем.

Было время, когда ни злого, ни доброго — ничего она не могла без Ильи почувствовать до конца: ни книжке порадоваться, ни уstrasиться политической новости, ни съесть в свое удовольствие яблоко, ни насладиться купанием. Бежала к мужу, делилась: съешь половинку, не хочу без тебя, объясни, растолкуй, послушай. И всякая радость вырастала вдвое, и всякое горе вдвое же делалось легче.

Не то, чтобы Нора во всем соглашалась с Ильей, бывало, что спорила (иной раз даже до слез), но важно было немедленно узнать, сопоставить суждение свое и его. Вместе — только бы вместе! — большего в жизни не надо.

Однако все реже случалось им быть заодно. Да и что толку спрашивать, коль скоро ей наперед известен ответ! Не в силу его заурядности — Илья и сейчас умел огорошить каким-нибудь неожиданным вывертом мысли, — а потому, что знала: даже и выверт этот будет до крайности ей неприятен.

Пошли они как-то с сыном прогуляться к оврагу. Антон, держа родителей за руки, шагал между ними и без умолку лопотал, а они, погруженные каждый в свою думу, рассеянно, лишь междометиями, откликались на его болтовню. Как вдруг, одновременно повернув головы, оба заговорили. Илья сказал: "Чего было, собственно, ждать от этого чужака — обьевшегося рифмами всезнайки?" А Нора сказала: "Во всем мне хочется дойти До самой сути. В работе, в поисках пути, В сердечной смуте". И умолкли, окинув друг друга сердитым взглядом.

Увы, мысли их до сих пор, как видно, текли в одном русле, но — в разные стороны.

Ребенок притих, испугавшись внезапной, словно от невидимой искры вспыхнувшей ссоры. И тогда, повинясь как бы наитию свыше, он тихонечко потянул родителей за руки, соединил их, сцепил, а сам отошел назад. "Ах ты наш добрый гений!" — воскликнул Илья, поймал свободной рукой смущенного сына и так, спотыкаясь в сумраке елей о корни лесной тропы, скользя по рыжей подстилке из прошлогодних игл, они уже весело дошли до оврага, где еще долго стояли на бровке и слушали сочное, выпуклое, как звук выключателя, щелканье соловья.

Конечно, если ничего дорогого и важного не касаться, ей могло еще изредка быть с Ильей хорошо. Но сегодня недостижимо и это. Слишком была она переполнена новыми впечатлениями. Задаром их расплескать — обидно, а бережно перелить — не удастся. Они с Ильей давно перестали быть теми сообщающимися сосудами, в которых в мгновение ока устанавливается одинаковый уровень, а история с Настей и вовсе уже герметически (хотя, быть может, не навсегда) закупорила тонкую трубку, соединявшую прежде эти сосуды.

Нора не покривила душой, сказав, что с Настей не было скотства. Пожалуй, что с ней, единственной на всем свете.

Они знали ее много лет, еще с Омска. В доме-коммуне постройки двадцатых годов, с просторными, как танцкласс, но дымными кухнями, с их узкой, точно трамвай, комнатой, где вдоль стены тянулась поленица мелко наколотых дров —

предмет их особенной гордости, наряду с урбанистическим ("чистый Марке", — похвалялись они) пейзажем в окошке: река с баржами и мост, — в этом доме Настя была комендантом.

То было в начале войны, и стриженная под мальчика, с серыми, в ободке коротких черных ресниц, какими-то суриковскими глазами, в черной гимнастерке, лихо, чуть набекрень надетой кубанке, в страшных подшитых валенках и с кондукторской сумкой через плечо — она походила на партизанку.

Войдя к ним впервые и сразу, еще от двери, бросив наметанный взгляд на пленницу, на которую был накинута тулуп, Настя сказала:

— К завтраму чтоб не было.

— Садитесь, прошу вас, — с любезностью петербуржца придвинул ей стул Илья.

— Некогда мне рассиживаться, — сурово отрезала Настя. — Ясно? К завтраму чтоб не было. Приду проверю. Бывайте здоровы, — и удалилась.

Она сдержала свое обещание и на завтра пришла. Илья, конечно, и не подумал убрать пленницу. Да и куда ее уберешь? В доме-коммуне, где кухни топились дровами, сараи не были предусмотрены. К тому же пленница украшала военное их жилище: тулуп мехом наружу превращал ее в нечто вроде тахты.

— Ну? — грозно нахмурилась Настя. — Продолжаете нарушать?

Она была очень красива в эту минуту, даже величественна. Несмотря на свои тридцать лет, которые в те времена казались Норе старушечьим возрастом. Несмотря на морщинки на бледном лобастом лице, на дурацкую шапку и огромные валенки, с которых упали на пол лепехи снега. Глаза ее холодно и безумно сверкали светлым огнем.

— Простите, как ваше имя-отчество? — вежливо осведомился Илья.

— А вы не подлизывайтесь! Настя меня зовут. И все.

Илью понесло.

— Настенька, дорогая, вы бы присели. Нора, угости нас, по-

жалуйста, чаем... Настя, ну что вы, ей-Богу, ломаетесь, точно вяземский пряник! Это вам не к лицу. Учтите, я — человек с комсомольской закваской, и меня от всяких цирлих-манирлих просто воротит с души. Ты ведь тоже, конечно, была комсомолкой, — словно по вдохновению выпалил он. — По глазам, по ухваткам вижу! Намыкалась в детстве, наголодалась? В тридцатых, небось, раскулачивала? Я про тебя, сестренка, все знаю, все чувствую, кому, как не нам, друг друга понять?

Илья вначале играл, насмехался, юродствовал, но чем дальше, тем искреннее входил в свою роль.

— Вообще-то да, вы меня правильно поняли, в тридцатых я комсомолила, активисткой была на селе, но теперь-то я член нашей партии, — сказала она угрюмо.

Однако, секунду помедлив, сняла кубанку и нерешительно опустилась на стул.

Как ни странно, она оробела, эта железная комендантша. Прихлебывая из блюдечка чай, грызя сахар и скромно кладя на клеенку постепенно уменьшающийся кусочек, который она из приличия так до конца и не съела, Настя, развесив уши, слушала витийствующего Илью. А у него уже на глазах закипали слезы и голос дрожал, прерывался, когда он рассказывал о гражданской войне, о Дравич, которая "своими нежными ручками..." и так далее, а еще — о некоем желторотом чоновце Коле, — Нора прежде о нем не слыхивала, — которому он, Илья, уступил перед боем любимую девушку, чтобы тот не погиб невинным младенцем, но, к счастью, парень вернулся живой. "А девушка?" — вскрикнула Нора. "Что девушка, что? Она в операции не участвовала!" — "Да, но она человек, как ты мог ее у с т у п и т ь?" — "Жена у вас, видно, мадонна", — не скрывая презрения, заметила Настя. "Мадонна, мадонна", — подтвердил оскорбленный Илья, ведь он так гордился своим благородным поступком.

Что касается дров, то о них уже больше не поминали, и Настя с те пор нет-нет да заглянет на огонек, но чаще захаживала в рабочее время, когда Нора была на службе. О ее посещениях она узнавала лишь по тетрадкам, валявшимся на столе у Ильи и сплошь исписанным цитатами из Ленина-

Сталина, из Горького и Роллана, а также (и главным образом) чудовищными стихами примерно такого рода:

“Я буду, как красное знамя,
Трепаться на сильном ветру,
Пока с коммунизма врагами
не покончу и не умру”.

Или — посвященное труженицам тыла:

“Везете воз на благо фронта,
А если у кого беда,
Вы с Женсоветом поделитесь —
Протянут руку вам всегда”.

Потом они с Настей расстались на долгие годы, пока однажды она, уже после войны, неведомо какими путями, не разыскала Илью в Тернополе. Густо пошли письма, трогательные, любовные, с цитатами и стихами, Илья ей тоже что-то писал, длинное, нежное, проповедническое, не раз заезжал к ней в Киев, где она теперь поселилась, их связывала горячая, странная дружба, вызывающая невольное уважение Норы.

Да, Настя имела права на Илью, честно выстрадав их за годы разлуки. И все же, увидев в окно, что муж идет не один, а с детьми, Нора подумала: “вот и прекрасно”.

ПРИРОДА

Все получилось, однако, не так, как она ожидала.

— Мамуля, — сказала Тата. — Мамуля, моя дорогая.

— Ты что это? — Нора дрожащей рукой поправила дочери волосы. — Что ты выдумываешь?

Антон вцепился ей в локоть.

— Ма, я тебе землянику собрал, — и протянул букетик с цветами и ягодами. — Черт, самая лучшая потерялась... Правда же, Татка, скажи! Здесь была красная-красная, даже длинная... Ч-черт!

— Не ругайся, малыш. Бог с ней, я тебе верю.

— Дети очень готовились, — улыбнулся Илья. — Вскочили чуть свет. А тетя Домна нажарила тебе пирожков. Попробуй.

— С гриба-ами! — сказал Антон.

Все вместе они пошли по аллейке, встречаясь и разминаясь с группами больных и гостей. Все теневые скамеечки были заняты. Тогда они забрались в кусты, на газон, и сели в пыльную и заплеванную траву.

— Ты как тут — освоилась? — спросил Илья.

— Да, да, — ответила Нора.

И по ее беглому,дробному “да-да” Илья понял, что на этой теме можно не задерживаться. Он только осведомился, осматривал ли ее врач, и сразу заговорил о другом:

— Знаешь, о чем я думал последнее время? О природе...

— О чем, о чем?

— О природе. Тебя это удивляет?.. Вернее, о том, что русский мужик до обидного тесно связан с природой, с той первобытной средой, к которой относятся всякие там буреломы, грозы, гнилые болота с кикиморами, непролазная грязь на дорогах... Человек на святой Руси, — продолжал Илья, — тысячу лет жил с природой один на один. Даже когда отсиживался от мороза в избе, студеный ветер все равно проникал в щели, изба к утру выстывала, вынуждая ехать в лес по дровишки и разжигать в печи дымные осиновые поленья. От случайной улыбки солнца или дождей зависело все — хлеб для семьи, корма для Буренки, словом, жизнь. Не так ли?..

Нора послушно кивнула.

— А что он знал, бедолага? Цвелью покрытые омуты, бодливый бык да хрипящий от злости цепной Полкан — вот детство крестьянского сына... Потом одинокая старость посреди выюг и осенней слякоти. Как в песне поется: “По будням там дождь, дождь и по праздникам дождь”. А отсюда и пьянство — до беспамятства и непременно с надрывом, с воплями и гроханьем сапожищами об пол, и драки стенка на стенку, и темные страсти... Разве только одни господа, все эти Пушкины, Тютчевы, Феты любовались красотами первозданной природы. Зато крепостным их было не до красот! Да, уж простите, не до красот! Они потихоньку да полегоньку, исподволь изучали природу, как изучают коварного недруга, зверя, который, того и гляди, прыгнет и вспорет брюхо рогами... И вот, читая в журналах сочинения наших, так называемых “дере-

венщиков", со всеми их поэтическими "пахло мятой и чабрецом" (как помянет про этот самый чабрец — так и знай, обскурант, ретроград, а по сути дела — барчонок!), невольно подумашь: какую же надо иметь толстокожесть, чтобы писать — о, конечно, с оглядкой, намеками, а то как бы еще не лишили теплой уборной, — будто русскому мужику, извечному мученику, илоту, от рождения втопанному в коровий навоз, хорошо, мол, и так, без вмешательства внешних сил — без Советов, без партии, без колхозов, будто он, в отличие от нас, горожан, находит какую-то прелесть в своем жалком, сиром существовании! Ну скажи, не позор приукрашивать то, что так верно и точно названо "идиотизмом деревенской жизни", скажи — не позор?

Илья был взволнован. Нора слушала мужа, любясь его скульптурной позой — сильные руки с закатанными рукавами белой рубашки обхватывают колени, голова и спина откинута, желтоватая кожа, натянутая на скулах и сократовских шишках высокого лба, отликает латунью. У Ильи талант убеждения, увещания. В речах его правда так сплетается с домыслами, с незаметными логическими натяжками, что Нора годами освобождалась от их прельстительной магии. Но сейчас она ни во что не хочет вникать. Как соринки, попавшие в глаз, застыт свет его фразы про "господ Пушкиных, Тютчевых, Фетов", про "вмешательство внешних сил", у нее бы нашлось, что на них возразить, но она сморгнула эти соринки и промолчала.

Тени листьев пятнали лица детей, всю их семейную группу, такую тесную, спаянную, отдельную от этого мира отверженных, прокаженных, Норе так нужно было хотя бы на час от него обособиться, что она уткнулась в плечо Ильи, закрыла глаза и, кажется, даже уснула. И увидела странный полет стрекоз, как они повиснув, словно на ниточке, подрагивают слюдяными прозрачными крылышками, затем неожиданно острый рывок — и снова подрагиванье, и этот их выпученный изумрудный фасеточный глаз, увидела восковые кувшинки и тихое их свечение на темной поверхности озера ("Штольц" — вдруг всплыло его название из той, позабытой жизни, из

Луги, из детства), и ощутила гладкость резиновых гибких стеблей, и тот удивительно мягкий толчок в ладонь, когда они отрываются там в глубине, у самого дна, и почуяла запах сосновых шишек от вечернего самовара, когда еще толькоходишь в калитку с букетом обвисших кувшинок в руке, а сизый дымок уже стелется над росистой травой, предвещая мирное чаепитие на веранде, и приезд папы из Ленинграда с последним поездом, а вкуснейшую пенку от брусничного варенья на блюдечке...

— Ма-ма, ты где? — тихо шепнула Тата.

— На лоне природы, — улыбнувшись ответила Нора и открыла глаза.

— Ого, — засмеялся Илья. — Дуэль.

— Нет, нет, — испугалась она. — Это я так... Извини.

— Уж не вообразила ли ты, будто я не люблю природу? — Илья похлопал ее по плечу. Он был настроен сегодня очень миролюбиво. — А счастье стоять на палубе быстроходного катера? А шагать по тайге среди корабельных сосен? А нагнуться, как тот председатель колхоза — помнишь? — и увидеть зеленый пушок ржаных всходов на шестьдесят второй параллели северной широты? Я люблю это все — и нежный пушок, и сосны, и Обь, — но не абсолютно, не как самоценные "вещи в себе", а как то, что должно и обязательно будет служить людям. Чаадаев однажды сказал, что придется все создавать заново — вплоть до почвы под ногами, вплоть до воздуха для дыхания! Природу следует изучать с дотошностью русского мужика, который говорит, например: "На Евдокию курочка не напилась — быть протяжной весне", и прочее в том же духе. Вот это дело, это я понимаю! Еще старик Гегель писал: "Корова умнее агностика", она, мол, не рассуждает, познаваема трава или нет, а съедает ее и тем самым доказывает, что она не только познаваема, но и полезна!

Он снова увлекся, очки его слепо блестели на солнце.

Никто и опомниться не успел, как время свидания истекло. Тата, прощаясь с Норой, шепнула: "Какая-то ерунда... Расстаемся, а так ни о чем не поговорили".

ВОЛШБА

А в понедельник — едва умылись, прибрались на тумбочках, кто успел улечься на койку, а кто и нет, как уже натолкалось, набежало в палату “белое духовенство” — важное, окутанное мистической тайной, только не кресты висят на груди, а фонендоскопы.

Крошка Цахес, профессор, и не виден за мощными спинами ассистентов, лишь дискант его доносится из этой непротолченной трубы. Крахмальные, а впрочем, не слишком чистые, в кровавых брызгах, халаты добрались до Норы в последнюю очередь.

— Новенькая? — пискнул профессор.

— Да, — сказала Елена Ароновна.

— Что?

— Тумор молочной железы.

— Ваше мнение?

— Терция.

— Когда на стол?

— Да тянуть не хочу.

— Разденьтесь, милочка.

Потыкал, намял, кивнул Елене Ароновне: “Согласен, коллега”, и белый вихрь умчался.

Анализы крови — на сахар, на протромбин, суточная моча, рентген того и сего, зубной врач, глазник, горловик — только к вечеру Нора опоминалась от этих “аттракционов”. Почти не заметила, как наступила среда, и в специальном кресле увезли на операцию полусонную от укола Паню.

Того человека, что лежал в коридоре на раскладушке, куда-то перевели, и след его потерялся. Но в четверг вечером, проводив до ворот Илью и возвращаясь “домой” (так она мысленно называла теперь палату), Нора встретила его на аллейке — уродливая, скрюченная фигура в полосатой пижаме. Он ей улыбнулся своей доброй улыбкой, явно не узнавая.

— Здравствуйте, — поклонилась Нора.

— Это вы? — спросил он.

Невозможно, казалось бы, улыбаться лучше, добрее, чем он улыбался всем, каждому человеку, любому лицу, попавшему в поле его зрения. Быть может, эта улыбка тем и была хороша, что не имела определенного адреса, а выражала суть его отношения к миру: кроткое сострадание и готовность принять, вобрать в себя чужую беду. При этом жалость не таила в себе гордыни, той бесовской гордыни, которой не чужды иные честолюбивые доброхоты. Напротив, он словно искалительно и печально винился перед людьми в собственной, с болью сознаваемой им греховности.

Но все же прекрасная эта улыбка, казалось, еще просветлела, когда Нора ответила: "Я".

— Вон вы какая, — сказал он.

— Какая?

— Милая. И — знаете, что я скажу — когда-нибудь вас погубит ваша интеллигентность.

Она удивилась почти как в тот раз, когда он предложил погадать ей... И с этой минуты их разговор (они медленно пошли по аллейке, удаляясь от больничного корпуса) нет-нет прерывался долгими паузами, до краев наполненными ее изумлением.

— Увы, — сказала она, — гораздо раньше меня погубит нечто другое.

— Не надо, вам не идет фанфаронство.

— Но это правда...

— Правды о себе не знает никто, один Бог.

— Вы тоже не знаете?

— Я долго думал, что да, и как же горько ошибся!

— Вы не устали, может быть, сядем? — предложила она.

— Спасибо... Вот вы в тот раз спросили, кто я, так если угодно, могу рассказать вам одну историю... Мою историю расплаты за самомнение.

— У вас? Самомнение?

— Страшное. Вы не торопитесь? Нет? Тогда слушайте. Я постараюсь быть кратким.

Он помолчал, улыбнулся и начал:

— Вырос я в Бухаресте. Отец у меня румын, из горной части страны, с Карпат, а мама — еврейка. Они были очень разные люди: он — упрямый и грубый крестьянин, хоть и выучился с грехом пополам на судью, она — изящная барышня, образованная, со знанием языков, блондинка, красавица писаная. Вам не странно, что я все это рассказываю? Вдруг, ни с того, ни с сего... Вцепился в вас и...

— Странно. Ужасно странно, — созналась Нора. — Но я благодарна вам... Говорите, прошу вас.

Он кивнул и прикрыл глаза.

— Была у мамы привычка: тряхнет головой, шпильки дождиком на пол так и запрыгают, забренчат, прическа — тяжелый-тяжелый ком червонного золота — лениво раскрутится и, будто нехотя, шлеп с затылка на шею... А она рассмеется. Как наша мама смеялась! Нос сморщит, слезы ручьем, ресницы склеются в стрелки — ну, Саския!

— Как вы помните свою мать...

— Помню... Разве я ее помню? Помнишь то, что можно забыть... Да. И был у меня близнец. Такой на меня похожий, что все вечно путали нас, одна мама чуяла разницу, о которой тогда я не мог и подозревать, лишь видел, что она не одинаково нас жалеет и любит, а каждого на свой лад. Но мы-то чувствовали себя одним существом, мы оба и мама, все трое мы были одно существо, и когда она заболела — она долго болела, сердцем, а потом уже ясно стало, что скоро умрет, — мы с братом дали друг другу клятву: если это случится... словом, мы с ним решили себя убить.

— Сколько ж вам было лет?

— Тринадцать... Она лежала в больнице, и мы даже ночью не оставляли ее, и то я, то брат сидели, вцепившись ей в руку, потому что однажды мама сказала: "Не бросайте, держите меня до конца, тогда мне не будет так страшно", — и мы держали.

— Но как же она... Ведь вы были дети... Это жестоко, нет?

— О, что вы, нисколько! Поймите, мы были о д н о существо! И брат дежурил, когда она умирала, а я угадал это — точно, минута в минуту — помчался в больницу, но не успел, и мы разминулись...

— С кем?

— С братом... Когда я, рыдая, припелся назад, у дома толпился народ, стояла карета, отца, отчаянно отбивавшегося, сводили с крыльца, а в его кабинете лежал на ковре застрелившийся брат.

— О, Господи, что это?

— Что? Ничего. Он сказал отцу, что мама скончалась, сорвал со стены пистолет и сделал то, что хотел. Как мы решили. Отец впал в буйное помешательство, разбил два окна и кричал, пока не сбежались соседи...

— А вы?

— Я?.. Как видите... Сажу перед вами. Остался жить, как самый последний подлец.

Рассказывая, он не переставал улыбаться. Под конец ей даже пришло в голову, что у него контрактура мышц. Да и сама история казалась почти нереальной. Только тихий голос и, как ни странно, улыбка заставляли верить, что все это — правда... Внезапно он содрогнулся.

— Вам холодно?

— Нет. Дайте руку, я посмотрю ваши линии.

— Вы хиромант?!

— Увлёкся еще в гимназии, потом бросил... О-о! Вы будете долго жить, я вам обещаю... И вот еще: вы ведь пишете, да? Вы скоро напишете дивный рассказ, дивный!

Он опустил ее руку, но не отдал совсем и умолк. В сумерках едва различались его черты. Хотя лицо его было повернуто к ней, Нора не понимала, куда он смотрит. Одним глазом — бархатно-черным, как будто на нее, другим, в котором был яркий блик — на закат, горевший меж кронами темных деревьев.

— Рассказ про девочку, собаку и утку, — вдруг сказал он.

— Утку? Какую утку?

— Не знаю. Я только чувствую, нет, вижу — так же ясно, как вас, что с уткой связано что-то зловещее... Да и с собакой.

По голосу слышно было — он улыбался. Нора подумала: "Сумасшедший".

— Нет, я нормальный, правда, — тихо сказал он. — Не бойтесь, — и отпустил ее руку. — Вы напишете этот рассказ здесь. Прямо в больнице. Про девочку, про собаку и утку, — и опять содрогнулся. — Завтра ветрено будет. Смотрите, какой закат.. А моя история еще не окончена, я вам как-нибудь ее доскажу.

— Потом, — прошептала она.

Он засмеялся.

— А вы тогда не звонили, я знаю.

— Послушайте, как вас зовут?

— Аурелиу, — сказал он.

ЖРИ, ЧТО ДАЮТ

Круговерть анализов улеглась на завтрашний день, и Елена Ароновна, подойдя к Норе в конце работы, спросила:

— Вы, надеюсь, не суеверны?

— Нет, — ответила Нора и покраснела, вспомнив вчерашние чудеса. — А что?

— Да собираюсь назначить вам операцию на понедельник, тринадцатое.

— Прекрасно, — кивнула Нора, и Елена Ароновна отошла.

Короткий их разговор резко, как утопающего за волосы, выдернул Нору из того состояния ошеломленности, в которое она была ввергнута этим странным косым человеком — не то ясновидцем, не то шарлатаном, а скорее всего — сумасшедшим. Бог его знает, кто он. Чудак — это уж точно. Но время ли предаваться чудачествам — сейчас, на пороге смерти, когда столько еще не обдумано ею, не понято, не решено...

Норе вспомнился старик Сергиевский, вернее, то, как она рассказала о нем Илье, давно, еще в Омске: "Дожить до семидесяти и так и не подготовиться внутренне к смерти! Ведь столько трепета, страха, затравленности — даже больно было смотреть на него... Неужели нельзя запасть достоинством, ну хоть к смертному своему часу?" Тогда-то Илья и взглянул на нее впервые с одобрительным любопытством. Нет, что за безмозглая пигалица была она в свои семнадцать лет! Сколь-

ко злого высокомерия таило в себе ее замечание!.. А что она знала в те времена о жизни и смерти? Лишь жонглировала страшным смыслом этих понятий, как китаец тарелками на арене. А ради кого изощрялась? Перед кем выкомаривала? Перед неизвестным ей, стройным мужчиной в очках, что, стоя спиной к окну, курил козью ножку и с угловатой красотой вырисовывался на его фоне. И вот она предала Сергиевского, который, когда она приехала в Ленинград поступать в институт, принял ее в свой дом, как родную, у которого всю предвоенную зиму она спала на диване в столовой — мрачновато-бюргерской, старомодной, с темной, мореного дуба, готических линий мебелью, с портретами Баха, Гайдна, Глюка на стенах, оклеенных коричневыми, тоже под дуб обоями. Предала милого, доброго старика, который надтреснутым голосом пел ей оперы Вагнера, не глядя на партитуру и сам себе дирижируя руками в крупных веснушках, трогательно уча ее слушать и слышать музыку, который — единственный из всех ленинградских друзей их семьи — не отвернулся от мамы после ареста отца, — почему она это сделала? А просто, чтобы понравиться тому человеку, продемонстрировать перед ним свою исключительность, звериным девичьим чутьем угадав, что именно будет ему по вкусу. И не ошиблась. С того самого дня и начался их безумный, молниеносный роман, приведший в ужас всех ее близких.

А вот теперь и она, как тогда Сергиевский, стоит перед той же последней чертой, но запаслась ли она достоинством? Не так ли, как он, трепещет, не так ли затравленно ищет, за что уцепиться душой...

Предложенное ее новым знакомым, этим юродивым Аурелиу, которого даже мысленно было неловко звать этим именем (вроде как женщину или цветок), казалось ей слишком уж примитивным: "Будете долго жить", "Скоро напишете дивный рассказ" (Что за бред? Какая собака, какая утка!) — это все детские утешеньица. Да и хочет ли она долго жить? И что значит — долго? Понять бы — зачем? Понять бы — что было раньше? Жила ли она вообще? Что считать жизнью? А отсюда — и что для нее будет смерть? Переход из небытия в небытие?

Вот те стрекозы с фасеточными глазами, и та веранда в Луге, и запах стелющегося по-над травой дымка — то была жизнь, она это чувствовала всем своим существом. И еще тот повесившийся... Вернее, не сам он, лежавший в гусиной травке под деревом, чуть в стороне от дороги, по которой Нора с мамой и крестной, возвращаясь на дачу из города, шли ранним утром со станции, — нет, даже не он, весь скрюченный, маленький, в драных штанах, похожий на старую тряпичную куклу, а тот, другой человек, с портфелем, который их обогнал, но, заметив удавленника, круто свернул с дороги, подошел к нему деловой походкой и, спокойно раздвинув зевак, дотронулся до веревки на шее и удалился, помахивая портфелем. “Что это он?” — в страхе спросила Нора. “Примета такая, — сказала нехотя мама. — Говорят, это к счастью”. — “А ты? Ты бы могла?” — “Я? Нет”, — ответила мама, скривившись, как от зубной боли. “А почему? Почему?” — “Потому что это нехорошо”. — “Что нехорошо? Что он умер, а ты... а ты...” — она не умела выразить свое чувство. “Да, — кивнула мама, — он бедный, несчастный, а я как будто пользуюсь этим...” — “Ну, хватит”, — одернула крестная. Она не любила говорить о печальном. (Это была веселая румяная женщина, горбоносая, с голубыми глазами, с ослепительно белой улыбкой — мужа ее, дядю Зигу, Сигизмунда Люциановича, инженера лесного хозяйства, расстреляли в тридцать седьмом, а крестную, как жену шпиона, отправили в лагерь, где ей, бедной, наверно, пришлось, если не онеметь, то научиться говорить о печальном.)

Так вот, этот случай, и тот человек с портфелем... Что это было за впечатление? И почему оно вошло в ее жизнь, стало частью ее настоящего, невыдуманного существования? Или другая история... Это было в Анапе. Как тот их сосед в галифе и майке вошел к ним во двор и у нее на глазах в упор застрелил Волчка из ружья, а Нора в каком-то затемнении бросилась на того человека и дубасила кулаками по его жидкому, мягкому, словно большая медуза, вываливающемуся из галифе животу... Что содержится в этих воспоминаниях? Почему они внедрились ей в самую плоть, в каждую кле-

точку ее естества, превратились, как писали в XIX веке, в ее "состав" и с кровяными шариками переливаются по ее жилам, омывая сердце и мозг, почему?

Кстати, собака... Вот же он, этот пес! А может быть, поискать — так найдется и утка? О, Господи... Нора испуганно оглянулась: была ведь и утка. Хохлатая, с красным глазом... Как он узнал? Но это — потом, потом. Не упустить бы мысль.

Нора всегда считала, что прожила богатую жизнь. Полную впечатлений. Ханты-Мансийск, болота, тайга, ханты в малицах, речушки в заламах, старухи и малые дети с трубками у костра. А бурундук с глазами, как черный стеклярус? А та охотница с незаживающей раной в щеке — след медвежьих когтей, — с которой она познакомилась в Нахрачинской бане, в парилке? А гнус, тучи гнуса, про который с таким уныньем сказал участковый в Казыме: "Урони платок — улетит с мошкой, не поймаешь!", тот замученный, заезженный участковый, у которого транспорт — лодка на гребях, а площадь надзора — "как есть цела Франция"?.. А после была еще Украина, Западная, с бандеровцами, и — вот даже что она видела! — оперативники выезжают в село на облаву, стоят в кузове с автоматами, за машинами тянется пыльный шлейф... А после была Каховка, порталльные краны на эстакаде, пять Эйфелевых башен, пять лебедей, и "наш бронепоезд", но нет, однако, не бронепоезд из песни, а эшелон с Гулькевичской галькой, укладываемой в обратные фильтры, пробы которой они отбирали из всей полусотни думпкаров, и толпы ликующего народа, целые гроздья людей на стрелах кранов и экскаваторов, когда закрывали проран, и брызги и пена умиряемого Днепра — да мало ли что еще было? Сколько судеб вокруг, сколько всяческих приключений с нею самой и с другими — разве, в конечном счете, не прекрасную прожила она жизнь?

Но что-то мешало признать ее подлинной. Может быть, то, что она ее наблюдала как бы со стороны? Так нет же ведь, нет! Никто ее не неволил, когда она с рыбаками тянула мокрую тетиву, от которой горят и вспухают ладони, и чвала в вязкой прибрежной няше, зачерпывая ледяную черную

воду за голяшки высоких броден, — ну, положим, это была немножко игра, для своего удовольствия, так же, как стертые чуть не до крови ноги, когда она двадцать верст проскакала на потной лошади, без седла, за решившим над ней подшутить председателем сельсовета. Но тонула она в Оби, когда перевернулась калданка, уже ведь без дураков, и в Великих Гаях ее обстреляли тоже не ради смеха, и в лепной мастерской она вкалывала на совесть, так что пот бежал по хребту и мутилось в глазах. И ела в рабочей столовке комплексные обеды, в просторечии — “жечедэ” (“жри, что дают”), и бегала по морозу в резиновых сапогах, а в войну — в тех стеганых самоделках, какие обычно вдевали в рыжие чуни, отлитые на Омском шинном заводе и выменянные на барахолке за водочные талоны, и сама торговала, зорко следя за милиционером, то чаем, отмеривая его ложечкой, то стеклом для керосиновых ламп, и так же, как вся страна, морила клопов и вычесывала обмакнутым в керосин частым гребнем вшей, и рвала на пеленки старые простыни, экономя и скаредничая, отчего потом ножки младенца выпрастывались и синели в нетопленной комнате...

Все она знала, видела, все со всеми прошла — так почему же это не настоящая жизнь? Нора может гордиться: она жила жизнью народа, всегда понимала людей, и они понимали ее.

Когда ей теперь случалось рассказывать иным московским знакомым истории с гляncем сибирской, тернопольской или каховской экзотики, она видела, как у слушателей от любопытства разгорались глаза, и кто-то, не то жалея ее, не то восхищаясь, обязательно говорил: “Да-а, хватили вы лиха...” А она усмехалась, зная, что это лишь малая часть, вершки, а главного — того, что скрыто под гляncем, что было о б щ и м для всех, для нее и для тех, кто из скромности полагает, будто прожил в сравнении с нею благополучную жизнь, — того-то как раз и не выразить, не поведать. Не потому, что опасно, а потому, что мало кому под силу сознаться даже себе не то что в нечестности, а в спасительном нежелании видеть, слышать и знать — то есть в том, что прожита не своя, а чужая, “дядина” жизнь, взятая напрокат.

Но почему же уж так, “напрокат”? (Нора пыталась сопротивляться). А потому, отвечала она себе, что тоже спасалась неведением, глухотой, слепотой. Видела, слышала, знала лишь то, что положено, что велели. А если что-то из “неположенного” проникало под черепную коробку и к сердцу — о, как легко, как быстро она забывала об этом! Про утку, к примеру. Про то, как топили, сталкивая с плашкоута, привязанного бечевой за лодыжку молодого сектанта. Про калмыков, набитых, как сельди в бочку, в трюм парохода. Про хлеб, который она — да, да, не кто-нибудь, а она, — помогла подчистую (на семена, и то не оставили) вывезти в госпоставку из колхоза “Червонный маяк”...

Как удавалось это забыть? Очень просто. На то существуют до смешного непритязательные клише: “лет рубят — щепки летят”, “государственная необходимость”, “великая цель” и так далее. Их власть была непреоборима.

Но почему же детские впечатления, хоть и совсем заурядные, кажутся ей единственно подлинными? Да потому, вероятно, что реакция на них была подлинной, не навязанной сверху, не по клише. Все и всегда должны оставаться собой — вот мудрость жизни. Только собой и никем другим. Ведь про них и “никем” тогда уж не скажешь. Скажешь — “ничем”.

КУМ КОРОЛЮ

— Паня, голубушка, вам ничего не надо?

— О-ох, все нутро горит... Помираю...

— Я вам марлечкой губы смочу.

— О-ох, хорошо...

Она лежала в послеоперационной палате, с воспаленным лицом, в жару. Над койкой висела табличка: “День третий”. Напоминание сестрам.

— Больно было? — спросила Нора.

— На столе-то? О-ох... На столе ничего. Я заснула. А вот как в себя пришла... Не приведи Господь... Чего с людьми делают, ироды! О-ох... Мало я в жизни страдала... И скажи, оттяпали-

то всего-ничего, малепусенький ведь кусочек, а как переломана вся... О-ох... Да еще моча не идет, катетер вставляют... Задели, видать мочеточник, коновалы проклятые... О-ох!

— Поправитесь, Паня, первые дни всегда тяжело. Скоро поить начнут. Все наладится. Потерпите.

— А я не терплю? К этому мы привычные, Нора... Сейчас-то чего? Сейчас мы — кум королю. Живем по-людски: стиральную машину купили, телевизор, ковер на стену... Красота ковер, двести рублей отдали. С этим, с аб... с абс... С абсрачным узором... Немецкий. А смолоду — намыкалась вволю... О-ох! Марлечку приложи опять, во рте пересохло... Думаешь, я из простых? Я ведь, девка, не из простых! Батька, чай, учителем был в селе. Книжек перечитал — прямо тонну... Это я неученая, ни бэ, ни мэ, ни кукареку, одним словом, — Нюшка, а он культурный был человек, партийный... В коллективизации участие принимал... И вот как-то раз... О-ох, тошно мне! Переверни-ка подушку, мокрая вся, с марлечки натекло... Ну, спасибо. О-ох, помираю... Чего я там толковала? Ага! А как-то пришли, говорю, звать его на собрание, да пока он портянки наворачтывал, кто-сь возьми одну книгу-то с этажерки, а из нее бумажка на пол и высклизни... О-ох! А бумажка — портрет Суворова. Командир был такой при царе, слышала? Потом-то признали его, а в те поры не жаловали... Богатый был, что ли? Ну, в общем, не знаю... Только батьку, и дня не прошло, загребли в воронок, и с концом...

— Паня, не надо, вам вредно... В другой раз мне расскажете!

— Э, девка, другого-то разу, может, не будет, ты слушай... Как с нами мамка билась одна, с пятерыми, это ужас зеленый. Мало, не сдохли. Колоски собирали, картошку померзлую ночью копали в колхозном поле — тем пробавлялись. Ну и, конечно, застукали нас, под Указ подвели... Если так рассудить, и не мамку даже поймали — Степку, братишку, да что с него взять, голопузый еще, малолеток... И загремела мамка наша в Сибирь... О-ох! Как вспомню, Нора, я тогда уже большенькая была... Про отца-то вроде скрозь сон. А это — как сейчас вижу! Осень, дождина, такая дождина была — не пой-

мешь, откуда и льет, не то с неба, не то с земли, сплошняком, да серое, да густое, как ополоски... А тут мамку из дому тащут, а она не идет, голосит, каблуками уперлась в порог — ни туды, ни сюды, закидывается назад, как припадочная, они ее матюгают, руки заламывают, а мы воем, знай, а мы воем... О-ох!

— Не плачьте, Паня, голубушка, температура подскочит. Дайте, я вам губы смочу... Не надо, родная моя, успокойтесь.

— А я что? Просто обидно стало... С этой житухи разве ж будет организм здоровый?.. Как прежде бабки говаривали: не тужи, а то вошь нападет... Нынче вошей нема, гигиена кругом, зато опухоля народ донимают!

— Не вернулась мать из Сибири?

— Где-е! Наскрозь больная была — и по-женски, и так... А Суворов... Еще до войны у нас в клубе кино про его крутили... Как услышала, побегла прямо без памяти, дай, думаю, погляжу на энтого супостата... О-ох! А оно — старичок вполне аккуратный, с турками воевал... Никак я, Нора, в голову не возьму, за что ж они батьку мово сгубили? Такой уж был большевик, такой преданный... О-ох, неважно мне, девка, о-ох плохо чувствую... Сейчас бы компотику чашечку, из холодильника бы... О-ох!

ИСТЕРИКА

Успокоив, утешив Паню, убаюкав, почти усыпив ее ласковыми словами, Нора вернулась в палату.

— Что она, как? — спросила Иоганна Карловна.

— Плохо, — ответила Нора. — Пить просит, возбуждена.

— Да как же не плохо, — вступила Роза, сверкая агатовыми глазами, — полбрюха разворотили, сколько всякой хурды-мурды в ведро повыбрасывали, а оно ведь все нужное человеку, или нет, как вы думаете?

— Есть и лишнее, — сказала Вера Георгиевна, которая терпеть не могла безответственной болтовни, видя в ней посягательство на государственные устои. Все, что ни делалось — за

пределами ли больницы, или в ее стенах, — казалось ей нерушимо-правильным.

— Здрассьте! — на всякий случай заспорила Томка. Она, собственно, не знала, что возразить, только чувствовала ненавистную ей охранительную тенденцию.

— Вот и "здрассьте" тебе! Не смыслишь — не говори. К примеру, аппендикс — не лишний, а? То-то. Много несовершенного есть в природе, и наука призвана эти ошибочки исправлять, а наши замечательные врачи...

— Между прочим, — подняла голову, оторвавшись от своего Монтеस्कье, Аэлига, — я где-то читала, что аппендикс вовсе не лишний, а железа внутренней секреции.

— Ага? Съели? — обрадовалась нахальная Томка. — Внутренние секреты! А они кому ни попадя отрезают аппендицит, как все равно корешок от морковки! Калечут людей, паразиты.

— Томка, Томка, — возмутилась даже Иоганна Карловна. — Какие ты глупости мелешь! И, главное, абсолютно не к месту. Аппендикс удаляют при воспалении, перитонит может быть, понимаешь? Воспаление брюшины. А у Пани дело другое: опухоль. Не то, что кусочка, клеточки раковой нельзя оставлять, иначе операция бесполезна. Уже через год...

— Да ладно вам, Карловна, — в сердцах перебила Томка, — это я Вере Георгиевне возражаю. Прямо с души воротит! Положение женщин, все кругом замечательно, нигде никаких недостатков! Тьфу!

— Прекрати агитацию! — взвизгнула Вера Георгиевна, но вдруг, прерывисто задышав и словно махнув рукой на свое человеческое — да что там! — даже номенклатурное достоинство, она зарыдала. И так безутешно, так горько, что все враз умолкли.

Спрятав лицо в ладони, она качалась из стороны в сторону и плакала, плакала...

— Вера Георгиевна, милочка, перестаньте, — сказала Иоганна Карловна. — Что это вас разобрало? Успокойтесь, пожалуйста. Слышите?

Но теперь уже плакали все. Томка всхлипывала, уткнувшись в подушку. Аля, опустив книжку до полу, молча лила

блестящие мелкие слезы, которые быстро, неестественно быстро текли одна за другой вдоль нежных розовых щек. Роза-татарка, ни дать ни взять китайский божок, скрестив на кровати ноги и растянув по-ребячьи расшлепанные, толстые губы, закатывалась, точно обиженное дитя. Берта, которая все это время ела вареную курицу, продолжала обглаживать ножку, сотрясаясь всем своим рыхлым телом. Даже баба Надя, невозмутимо спокойная баба Надя, и та как-то странно всхлипнула и зашептала: "Святой Боже, святой крепкий, помилуй мя!"

Нора, чувствуя, что и у нее подступает к горлу комок, переглянулась с Иоганной Карловной.

— Истерика, — сказала та просто. — Сейчас попытаюсь их вразумить. Да и вам не мешает послушать... Вы меня поняли? Да, да, да! — Женщины, между тем, уже стали неистовствовать, вскрикивая и закатывая глаза. — Ну так вот. Во время войны я работала в госпитале, в Казахстане... — Она говорила ровно, — ни тихо, ни громко, но старательно отчеканивая каждое слово. — В основном, у нас были ранения в голову, а значит, — много слепых. И как-то, в мое дежурство, — слышите женщины? — один молодой солдатик повздорил с сестрой, разнервничался, сорвал с глаз повязку и завопил: "А-а, не вижу, ничо не вижу, слепо-ой!" Поймите, Нора, не оглоушишь ведь сразу парня, особенно молодого: у тебя, мол, пустые глазницы! И мы обманывали, тянули, а люди надеялись — может, хоть двадцать, хоть десять процентов зрения им постепенно вернут... Итак, он сорвал повязку, — да прекрати ты, Роза, не вой! — стал шарить по тумбочке, хватать с нее разные склянки, швырять на пол, кричать, бесноваться. А истерика — она заразительна. Заплакали, заорали и остальные. — Вам ясно, Берта? — Сдирают, разматывают бинты, колотятся лбами о стенку, опрокинули стол... Тут примчалась сестра, уговаривает — никакого внимания. Кто-то в нее запустил графин, еле удрала. Будит меня: "Иоганна Карловна, помогите, госпиталь разнесут!" Я вошла к ним в палату да ка-ак гаркну: "А ну замолчите, мерзавцы, так и так вашу мать, р-расстреляю на месте!" И как бочонок масла на волны. Даже чудно: утих-

ли в момент. — Умница, Аля, вытри-ка носик... Легли, кто плачет, кто извиняется. Мол, сами не понимаем, как вышло, сейчас, мол, все приберем. В палате — ну, что-то неопишное: на полу осколки стекла, салфетки валяются с тумбочек, лужи кругом, вонища, судна расплесканы... А я упала с размаху на стул и сижу. Руки-ноги дрожат, душа в пятках. И не так мой мат меня напугал, как слово "мерзавцы", да еще — "расстреляю"! И жалко мальчишек несчастных, и люблю я их — никого на свете так не любила, как их в ту минуту...

Женщины больше не плакали, слушали, изредка судорожно вздыхая. Потом поднялись одна за другой и угрюмо пошли умываться.

— Я ведь чего тогда так обомлела? — тихо сказала Иоганна Карловна, когда в палате остались лишь Нора и баба Надя. — Кто я была? Административно-ссылная, немка Поволжья. А русских солдат обозвала мерзавцами, грозила расстрелом... Спасибо, сестра не слышала, а мальчики — ни один на меня не стукнул, даже сильнее зауважали... Ну, а женщины наши... Отчего, вы думаете, расплакалась Вера Георгиевна? Вся из себя она честная, вся, от макушки до пят, привержена общему делу, и вот же не пощадило ее! Вместе с Томкой вынуждена болеть... Тяжело. А прочих что разобрало? Тут ведь плакать не принято. В особенности, на людях. Да коли сдалась уж Вера Георгиевна, им, простым смертным, спасения нет... Именно это подумала каждая. Как ни скрывай от себя — капут.

АРКАН ИЗ ПЕСКА

Давно уже Нора не ожидала Илью с таким нетерпением, как в то воскресное утро, накануне своей операции. Он был человек из другого, нормального мира, "из-за огады". Там люди все-таки изредка радуются... Сколькo чудесных дней они знали с Ильей! Вместе откроют утром глаза — и засмеются. Он скажет: "Ничего на свете нет лучше женщины, начинающей день с улыбки!" И вот они вскакивают с постели, что-

нибудь быстро едят и куда-то бегут. Иногда это лес с нагретыми сосновыми иглами, которые набиваются в босоножки и так забавно щекочат ступни. Иногда — почти пустой кинотеатр, возня ребятишек в первых рядах, пронзительный свист в момент поцелуев, и рука Ильи, сжимающая в темноте ее руку. А иногда — просто-напросто деловая поездка в редакцию, и по дороге в метро Ильи, держась за никелированный поручень, учит ее: “Скажи ему так и так”. — “А что, если он...” — пугается Нора. “Никаких если! Главное, не теряйся. Иди, как большая, смотри ему в рожу гордо и весело, а я буду ждать внизу”. И после леса, редакции или кино радость не блекнет, и длится, длится нескончаемый день, полный добра и смеха. Все это есть, существует там, за оградой. Здесь — нет.

Здесь втягивают ее в свою безысходность, в свой хоро-вод. “Ты наша, ты наша!” — словно бы утверждают они.

Когда Роза во время прогулки в то утро взяла ее под руку, она содрогнулась и высвободилась. Словно та могла ее заразить.

И тотчас вспомнился Норе давний английский фильм. Исторический, про королей. Все исчезло из памяти, кроме одной сцены. Возлюбленный героини умирает от черной оспы. Он лежит с завязанными глазами. Она заходит к нему проститься. Он говорит, что любит ее и молит о поцелуе. Она тоже любит его. Но эта просьба приводит ее в смятение. Секунду поколебавшись, она обмакивает в чашу с водой два пальца и прикладывает к его губам. Он уверен, что она оказала ему милосердие... Что было дальше, Нора забыла. Но эти два пальца ее потрясли.

Она поспешно обняла свою спутницу.

— Розочка, расскажи о себе, — попросила она.

— Что рассказывать, Нора? Вообще-то мне в жизни везло. Здесь у нас многие жалются... Все им не так. А я всегда счастливой была, — ответила Роза даже с каким-то вызовом. — Родителей я не помню своих, сирота, воспитывалась в детдоме. Чего надо? Кормили, поили, чистенько одевали. И любили меня. А детдом на пригорке стоял, из окон пойма видна, река, чуть дальше — бараний лоб, орешник по склонам, кудря-

вый-кудрявый... Встанешь пораньше, выглянешь, а над лугом туман пластается, хорошо! Да меня и кавалерами Бог не обидел, на морду я ничего, конфеты дарили, ухаживали красиво. И специальность есть неплохая — маляр, в колерах разбираюсь, дутиков (пузыри такие, по-нашему, "дутики") я никогда не позволю, не то, что иные прочие, работу сроду мою не активируют, с Доски почета не слажу... А то, что взамуж не вышла, так я переборчива больно была, да и разве ж я перестарок? Тридцати еще нет. Ну, пишет один из армии, я от него свой возраст не скрыла, сразу созналась, он отписал: "Зачем мне знать твои годы, главное — человек!" Так-то бы все ладно, Нора, да вот заболела...

— Розочка, ты вчера плакала — почему? Эмбихин вот тебе дают, рассосались ведь вроде опухоли на шее, под мышками?

— Как будто поменьше стали, что правда, то правда. Мне что тяжело, Нора? Бабы уж очень вредные: чужое горе — после обеда, всем на тебя наплевать. А я к тому непривычная. Меня и в детдоме гладили по головке, и в тресте у нас, несмотря что характер имею настырный, люди ко мне с уважением. Кого в президиум? Габибулину. Кому премия? Габибулиной. А тут дождись-ка доброго слова — красный снег скорей выпадет.

— Ну что ты, Розочка, обижаешься? Больные, несчастные женщины.

— Верно, верно... И все ж таки тяжело. Хочешь, открою секрет? Никто отсюда не выйдет, Нора. А ведь каждая вьет аркан из песка... Надеемся, дуры. Аркан вьем. Да только он из песка.

Не зная, что ей ответить, Нора молчала. Было жаркое утро. Больные, гулявшие по дорожкам, изнемогали в теплых халатах. Однако многие были веселы, оживленно беседовали, смеялись. "И что же — никто отсюда не выйдет? Так-таки и никто?" — вдруг помертвела Нора. А вот Аурелиу считает иначе. Он сумел бы, пожалуй, утешить Розу. "Будете долго жить". Глупо, но тем-то и хорошо.

Она прожила, говорит, счастливую жизнь. Ничто ее не коснулось. Ни гонения, ни аресты, ни раскулачивание. Ее выби-

рали в президиумы, давали квартальные премии. Словом, гладили по головке, и она никому дурного не делала. Жила себе и жила. Для нее пластался в пойме туман, курчавился лес на холме, для нее летали стрекозы. Всегда. Без всякого перерыва. И слова Аурелиу легко и просто, как планирующий атласный кленовый листок, легли бы ей на душу. А может, так и следует жить, как Роза, — не мудрствуя лукаво? И Аурелиу пытался в тот вечер вернуть Нору в детство, к утерянной подлинности?.. Да, но он ведь еще сказал: "Напишите дивный рассказ". А рассказ-то про девочку, собаку и утку.

Розе, впрочем, не надо писать рассказ. Ей надо жить.

— Дай-ка свою ладонь, — быстро сказала Нора.

— Чего?

— Ладонь... Ага, — понесло ее вдохновение. — У тебя прекрасная линия жизни. Длинная, ясная. Смотри, нигде не пересекается, только маленькой черточкой — это и есть болезнь. Она очень скоро пройдет... Ты выйдешь отсюда. Клянусь!

— А взамуж? — робко спросила Роза.

— Замуж? Сейчас... О, какой холм Меркурия!.. Даже и дети будут — согни-ка еще раз мизинец... Двое.

Глаза у Розы черные, как агат, блеснули слезой.

— Честно? — шепнула она.

— Честно, — твердо ответила Нора.

И тут мимо них, как нарочно, прошел Аурелиу. Он поздоровался, улыбнулся, потом, заметив в ее руке ладонь Розы, чуть вздрогнул, но ничего не сказал.

— Простите, можно вас на минутку? — справившись со смущением, окликнула его Нора. — Взгляните, ведь правда, она будет долго жить? И выйдет замуж, родит двоих ребятишек?

Он подошел, будто нехотя поднес ладонь Розы к глазам, согнул ее, разогнул и, наконец, произнес:

— Да, правда.

— Ну, видишь? — азартно воскликнула Нора. — Уж этому человеку можешь верить, он знает! — Но в тот же миг нечаянно подловила прячущийся за полуприкрытыми веками странный косой взгляд, обнимавший ее и Розу. Взгляд был полон печали.

Роза, к счастью, ничего не заметила. Широкие татарские скулы ее залило смуглым румянцем. И только теперь стало ясно, как эта красивая, диковатая девушка обычно бывала бледна.

— Я пойду, хорошо? — сказала она и поспешно ушла.

Ей, конечно, хотелось побыть одной. Всласть пережить, просмаковать свою радость. А Нора вдруг взъерепенилась.

— Неужели, — сердито сказала она, — вы и впрямь хотите меня убедить, будто можете что-то предсказывать? Ерунда это все. Не верю.

Аурелиу стоял перед ней, понурившись, как провинившийся гимназист. Его плечи были опущены, и весь он ей показался сейчас неказистым, хлипким подростком.

— Не презирайте меня, — наконец, сказал он. — Мне больно.

— О, Господи, — пробормотала она. — Вы так меня удивляете! Скажите, Роза умрет? Вы это прочли по ее ладони?

— Я ничего не прочел... Но я чувствую... — сказал он тоскливо. — Вот вы раздражаетесь на меня... А чем же я виноват, если чувствую?

И он еще перед нею оправдывался! Нора молчала.

— Ну, идите, встречайте мужа, — Аурелиу улыбнулся. — Не стойте, как пень! И не надо себя так ужасно казнить.

Она взглянула на него исподлобья. Он улыбался чуть-чуть насмешливо.

— Про вашего мужа я не почувствовал, нет. Я его просто увидел... Это ведь он идет за оградой, не правда ли?

ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ

— Илюшечка, родненький!

Она успела к нему подбежать как раз в тот момент, когда он вышел из проходной.

— Ишь, задыхнулась, — он обнял ее за плечи, поцеловал. — Ты чего, а?

— Люблю тебя, — скороговоркой сказала она.

— Смотри-ка! Что это с нами такое? Дрожишь, лисий хвост?

Они шли обнявшись по асфальтовому двору, прямо к моргу, мимо больничного корпуса.

— Да нет, не особенно. Это я так... Просто очень тебя ждала.

— Донимают разговорами про болезни?

— Не в том дело. Хотя... И это. И вообще. Жалко всех... Я подумала — ты придешь, поговорим про детей. Сама не знаю, про что. Про другое. Про улицу.

— Не понял.

— Про то, что осталось там, — мотнула она головой, показав назад, за ворота.

— Ну, мать моя, ты что-то совсем плоха.

— Нет, ничего. Я так. Ты не думай. Скажи, как Антон? Болит у него рука? А Тата? А тетя Домна? Рассказывай. Я все хочу знать. Я куда-то уехала. Это неправильно, это стыдно, — говорила Нора в какой-то горячке, снизу и сбоку заглядывая ему в лицо.

— Сядем?

— Только не здесь! Очень уж мерзко пахнет. Карболкой. И трупами. Чем-то ужасно едким. И сладким.

— Что ты выдумываешь?

— Нет. Ну прошу тебя. Сядем у входа в приемный покой.

— Там солнце.

— Оно скоро уйдет... Ах, какие слова! Ты вслушайся: п р и е м н ы й п о к о й. Чудесно! Садись на кончик скамьи, откинись. И голова твоя будет в тени.

— А ты?

— А я так.

— Может, пойдем на аллею?

— Нет, нет, там народ. А здесь тихо. При-ем-ный по-кой. Ну, рассказывай.

Она быстро чмокнула его руку, лежавшую у нее на плече.

— Вот если б ты почаще бывала такой! — мгновенно расчувствовался Илья. — Как бы мы с тобой славно жили... Я ведь теленок, у меня характер телячий. Люби меня крепче, а я всегда тебя буду любить. Знаешь, почему так с Настей тогда получилось? Ты разлюбила меня. Я страдал. Я и дня не могу прожить, чтоб меня не любили!

— Я тебя буду любить, — прошептала Нора.

— Ну, и умница. Мне ведь никто не нужен, кроме тебя. Ты моя самая-самая... Завтра приеду, сяду на эту скамью и буду ждать, пока тебе сделают операцию. Хоть до ночи... Знаешь, кто я? Я — твой приемный покой.

Они, как Нора и говорила, теперь уже оба сидели в тени. Двор был пуст. Все больные, все гости сбились в аллее, под сенью деревьев. Изредка гулко отшлепают по асфальту задники чьих-нибудь тапок, и опять тишина.

Нора не понимала, что с ней творится. Почему ей так сладко сегодня слушать Илью? Знает ведь: грош цена его нежностям, хоть они каждый раз и искренни. Илья — златоуст. Нора давно перестала всерьез принимать его заверенья — слишком часто она обжигалась. Но знала она и то, что блаженство — небесное, лютное, несравненное — она никогда не испытывала от чьей-то любви к себе, а лишь от своей — к другому. Да только блаженство это дается не даром. Взамен оно требует в жертву всю твою жизнь.

Как трудно ей было сегодня преступить разделяющую их черту, превозмочь обиду! Но нет, обида — лишь красочка в отношениях близких людей, живительная, отчасти даже необходимая. А вот побороть отчуждение — это как безоружной пройти по ничейной, простреливаемой земле. Спасает одна оголтелость.

И все же — зачем она это сделала? Ответственность, налагаемая любовью, была ей теперь не по силам. Самой бы как-нибудь сохранить человеческий образ... Быть же просто лелеемой женщиной — эту радость, пускай дешевую, суетную, так и так ей познать не дано. Илья органически не способен кого-то лелеять, да и Норе не этого надобно. Счастье без муки ей кажется низменно плотским. Языческим. Что ей действительно нужно, так это — приемный покой. Хоть временно. Хоть ненадолго. Спасибо Илье и на том, что он это понял. Но можно ли верить?

— Что ты так смотришь? Как будто не веришь мне...

Она не ответила. Но Илья и не ждет. Он парит в поднебесье и слышит лишь взмахи собственных крыл.

— Ты помни одно, — сказал он. — Ничто не сможет нас разлучить — ни пространство в тысячу верст, ни кирпичные стены больницы. Потому что мы одинаково понимаем, в чем красота и цель жизни. Мы — единомышленники с тобой, а не просто супруги, какие-то жалкие обыватели. В дни их "свадеб, крестин, похорон" мы умеем плакать над вымыслом, мы...

— А в чем красота и цель жизни? — тихо спросила Нора.

— Что-о? — воскликнул Илья и резко выдернул из-за ее спины свою руку. — Да как ты смеешь? Как можешь кощунствовать в такую минуту?.. Ты же знаешь не хуже меня, чем мы дышим, ради чего живем и топчем эту захарканную, испохабленную, несчастную землю! Революция — вот смысл существования всякого человека, если только он не превратился в скота. Да, да! Непрерывная, очистительная, святая — до конца, до победы! А ты — ты разве не хочешь добра китайскому кули, или негру с кофейной плантации, или какому-нибудь Тихоновскому Самуи?

— О да, безусловно.

— Так разве не стоит для этого жить? В самом деле, не ради же новой шубы или дачи в Малаховке! И не ради самоусовершенствования, как предлагал один знаменитый зачуханный граф! Быть добреньким и гордиться собой посреди смердящего гноища — это ли не фарисейство? Нет, мы ассенизаторы и не боимся запачкать рук... Ну, что ты молчишь? Хочешь остаться чистой? Не выйдет! Мы вам не дадим. Коли всем, так уж всем выгребать помойную яму. И всем пачкаться... А нет — тогда мы враги. Помнишь Джека Алтаузена? Есть у него такие стишата, я твердил их в лагере, когда разбирала тоска:

"За Чертороем и Десной
Я трижды падал с крутизны,
Чтоб брат качался под сосной
С лицом старинной желтизны.
Нас годы сделали грубей,
Он захрипел, я сел в седло.
И ожерелье голубей
Над ним в лазури протекло..."

Илья уронил голову на спинку скамьи. Нора молчала. Наконец, он вытащил из кармана платок, вытер глаза под очками, протер и очки, потом громко высморкался.

— Одного я не мог понять: за что был наказан. И ведь не в тридцать седьмом замели, а гораздо раньше, когда, казалось, еще можно бы разобраться, кто враг, а кто свой... Но я, чтобы легче было, придумал себе вину: пускай я сажу за то, что жалел, когда был мальчишкой и маменькиным сынком, мадам Бовари. Пускай вот за это страдаю, и поделом мне!.. А впрочем, вру. Даже тогда я знал, чем я им не потрафил. Эти пережженцы давно уже предали революцию, а Коба понял это, учел и купил их всех с потрохами — за пакеты, дачи, лампы и ордена... Я тебе никогда не рассказывал про Авербаха?

— Кто это?

— Ха-ха-ха, дожили! Выросло поколение, не знающее, кто такой Авербах! Леопольд Авербах, а вернее — Ляпа, как его все называли. Да он заправлял всей нашей литературой — этот тип, огнеупорный, как пепельница! Как-то я был у него дома, он долго что-то молол красивое и возвышенное: Достоевский, Переверзев, Бухарин, потом стал демонстрировать мне свою власть. Позвонил в издательство: такую-то книжечку задержать, не пущать, такую-то срочно в набор. И при этом косится: мол, ясно тебе, от кого зависишь, шпендрик несчастный? А повесил телефонную трубку, откинулся к спинке стула и заорал: "Нянь-ка, молока!" Вот, какие они тогда были — мне было с ними не по пути... Однако, и он загремел. Но ничего, ничего. Революция продолжается. На наш с тобой век еще хватит. Коба сдох, Ляпа сгинул, а мы живы!

Он опять подобрел и глядел на нее умиленными сияющими глазами. В чем нельзя было ему отказать — так это в умении жить одухотворенно. Бледнеть от мысли. Забывать о язвенных болях, слушая "Патетическую".

— Да, — вспомнил он, — ты спросила, что дети. Очень славные поросята. Правда, бездельники... Я встаю вместе с солнцем, точнее — с доярками, сажусь писать очерк для "Огонька", тетя Домна тоже с шести часов утра на ногах, стирает, чистит кастрюли, готовит завтрак, они — дрыхнут. А продерут глаза и — шасть на пруд или в лес.

— Не ссорятся? — спросила она.

Сейчас ей было особенно важно, чтобы дети дружили. Кто знает, что ее ждет. И если, как пророчила Роза, она отсюда не выйдет, — дети должны держаться друг друга...

— Бывает, — ответил Илья. — Но я не очень-то им даю расходиться. Сразу команда: Тата, вымой посуду, Антон, садись почитай. И — как шелковые!

— Илюша, — сказала Нора и на мгновение запнулась. Она не была уверена, надо ли говорить, и не смотрела ему в лицо. — Только не думай, что я трушу. Это на всякий случай, мало ли что бывает? Вдруг я умру на столе?.. Ты чуточку подожди и женись. Но очень тебя прошу — не на Насте... Тата уже большая. А вот Антон... Мне не хотелось бы, чтоб он меня позабыл. Или с презрением называл свою мать "мадонной"...

— Что у тебя за идеи? И почему обязательно Настя? Странно, — пожал плечами Илья.

ДЖИННЫ

За два дня перед тем, неожиданно, на тот же понедельник, тринадцатое, назначили операцию и Вере Георгиевне. Ее готовили в спешном порядке, она волновалась и нервничала. Палата, сочувствуя, присмирела. Лишь баба Надя жила, как обычно, замкнутой, сосредоточенной на себе, просветленной жизнью.

Аля, Иоганна Карловна, Томка, Роза и Берта говорили шепотом, оказывали Норе и Верушке трогательные знаки внимания. Берта насыпала им смородины, Иоганна Карловна умолила няньку сбегать на рынок и поставила им на тумбочки по букету цветов: Вере Георгиевне — несколько ярких махровых маков, Норе — душистый горошек, обнаружив и в этом бездну ума и чуткости. Верушка сочла бы себя оскорбленной, если красные маки с пушистыми стебельками достались бы Норе, а та не могла нарадоваться своим лиловатым и белым горошкам.

В понедельник утром явились им делать укол.

— Теперь ложитесь, — сказала сестра, — и постарайтесь уснуть.

Нора закрыла глаза. Сон не шел. Мысль работала четко. “Интересно, здесь ли уже Илья?” Было тихо. В палате, казалось, никто не дышал. Только слышался звук перевертываемых страниц: по обыкновению, читали Иоганна Карловна и Аэлита. Иногда страницы перелистывались вразнобой, иногда они щелкали вместе, сдвоенным сочным щелчком.

Томка высунулась в окно.

— Твой уже тут как тут, сидит на скамеечке, — сообщила она, обернувшись к Норе.

— Тш-ш-ш! — зашипели на Томку со всех сторон.

— Я не сплю, — открыла Нора глаза. — Будь другом, Томка, сбегай к нему, скажи, что я совершенно спокойна.

— Похвальбуша, — проямлила Вера Георгиевна.

— Молчите обе! — сердито прикрикнула Иоганна Карловна. — Еще поссоритесь напоследок!

— Почему “напоследок”? — уже еле шевеля языком, возразила Вера Георгиевна.

Ей никто не ответил, и она задремала. Нора лежала, уставив глаза в потолок. Она и в самом деле была спокойна. Однако ее спокойствие было какое-то ледяное. Не спокойствие, а хладнокровие... “Пустое сердце бьется ровно”, — подумала Нора и улыбнулась.

— В руке не дрогнул пистолет, — произнесла она вслух и скосила взгляд на Иоганну Карловну.

Та тоже, оторвавшись от книги, на нее покосилась. “По моему, я пьяная”, — подумала Нора.

Санитары вкатили в палату кресло и долго возились, усаживая в него Веру Георгиевну. Голова у нее болталась, как колокол. Нора спустила ноги с кровати.

— Сейчас мы за вами приедем, — сказал пожилой санитар. — Обождите.

Нора встала и выглянула в окно.

— Илюша! — закричала она. Он вскочил, задрал голову. — Я иду, до свиданья!

Он послал ей воздушный поцелуй. Она, улыбаясь, ответила тем же.

— Ну, мои дорогие, пока.

— Нора, не хулиганьте, — строго сказала Иоганна Карловна.

— А что? Зачем мне их кресло? Отлично дойду и сама.

— Вас проводить? — испуганно предложила Аля.

— Глупости, — она помахала им всем рукой и вышла за дверь.

Навстречу по коридору поспешно катили кресло.

— Не надо, спасибо, — сказала она санитарам.

— Во дает! — восхищенно воскликнул тот, что был помоложе, вихрастый и рыжий.

Она едва удержалась, чтобы не помахать и ему.

Нора дошла до операционной, открыла дверь и очутилась в чем-то вроде предбанника, где стояли стулья и вешалка в виде столбика с рожками. На одном из них еще слабо покачивался цветастый халат.

— Можно? — спросила Нора, заглянув в операционную.

Комната ослепила ее своей белизной. То была снежная белизна горных вершин. Холодная и сверкающая, вдоль и поперек перечеркнутая серебристыми бликами глетчеров. "До чего у них тут красиво", — вздохнула она.

Кто-то в маске сказал ей:

— Разденьтесь там и сложите вещи на стуле.

— Как! — Нора пришла в ужас. — И потом пойду голая, да? Маска фыркнула.

— Не рассуждайте, быстрее! — сказала другая.

Их было много, масок. И много белой, гладкокрахмальной материи, и чего-то блестящего, металлического.

Она разделась, босиком ступила на белый, как снег, кафель, и совершенно голая, не зная, куда девать руки, подняв их к груди и затем в отчаянье опустив, прошла под взглядами масок те пять или шесть шагов, которые отделяли от двери ее эшафот.

— Ложитесь, — сказали ей.

Она взобралась на стол и вытянулась на холодной серебристой клеенке. Ей закрепили ремнями запястья и щиколотки.

Ближе всех к ней стояла маска с растопыренными оранжевыми руками. Кто-то придвинул капельницу и в вену у локтевого сгиба всадил иглу. Потом откуда-то сзади, из-за ее головы, подsunул прямо к лицу резиновую вонючую черную плоску и приказал:

— Дышите.

Она начала задыхаться. Сугроб обрушился и залепил ей ноздри и рот. Она подергала руки, ей хотелось смести с лица снег. Но руки ей не принадлежали. Ей ничего не принадлежало. Голый человек на голой земле. В снегу.

Сквозь прикрытые веки она видела огромное круглое солнце, заходящее за голубую вершину. Это был страшный, дымный, кровавый закат.

— Глубже дышите. Дышите глубже, — раздавался над нею механический голос.

— Почему сегодня клубника на рынке? — вдруг спросила одна из масок.

Нора лежала в сугробе. Она не спала. Нежно пахло клубникой. Где-то играли "Джиннов" Цезаря Франка. Или это ей только мерещилось? Но она подпевала.

— Дышите, дышите, — как заведенный, твердил механический голос над ее головой.

— Полтора рубля и дикая очередь.

— Еще нельзя начинать? — спросил сугроб с растопыренными оранжевыми руками.

— Нет. Дышите, дышите. Глубже, пожалуйста.

— Курилка, наверное. Подождем.

— Я... не... курю, — казалось бы, внятно сказала Нора. Но ее не услышали.

— Я... не... курю, — повторила она.

Сугроб не слышал.

— Зрачки, — сказал он.

Ей оттянули веки. Закат догорал. Горы стали розовато-лиловыми. Связанными руками она пробарабанила несколько тактов из "Джиннов". Никогда так ясно и чисто не звучали они у нее в голове.

— Не спит, — произнес граммофон.

— Что ж, начинаем под местной... Шприц! — распорядился сугроб.

— Я... не... сплю!!! — заорала в ужасе Нора.

Сугроб не слышал.

Первый укол она ощутила. А также второй. И третий. Потом ей на грудь навалилась тяжесть. "На меня упала гора", — успела подумать Нора. И все, и ее не стало.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Нора очнулась от боли. Впрочем, нет. Это была не боль. Это была тоска, гнездившаяся где-то под правой ключицей. А она и не знала, что ее непрехотливое тело умеет так тосковать...

Повязка промокла насквозь. На бинте проступило блекло-алое, широко расплзшееся пятно. Нору мутило. В палате было сумеречно. Над койкой висела табличка: „День первый”.

— Пить, — прошептала она. — Пить, пить...

На койке напротив кто-то лежал. Наверно, Вера Георгиевна. Около нее стояла капельница. "Ей еще хуже, чем мне, — подумала Нора. — У нее-то ведь полостная..." Пить, пить.

Тоскует весь правый бок, тоскует плечо. Тошнит. В палате быстро темнеет. Веры Георгиевны не слышно. Она в забытии. Дверь в коридор распахнута настежь, там горит свет, люди ходят, смеются. Издалека доносится чей-то крик. На одной, нескончаемо-длинной ноте: "А-а-а-а!" Странно, что люди могут такое терпеть. Странно, что это бывает на свете. Раньше Нора боялась боли. Теперь она ее не боится. Она знает, что боль — это просто тоска. От которой только и остается кричать: "а-а-а". Но вынести все-таки можно.

— Эй, вы куда? Вы куда, гражданин? Эт-то еще что за фокусы? А ну, сейчас же назад! — слышит Нора голос дежурной сестры.

"Илья, — догадывается она. — Больше никому, это Илья".

— Доченька-лапушка, кисанька-солнышко! Это вам, — он ей преподнес, вероятно, какой-то подарок: конфеты или цветы. — Пустите меня на одну минутку. Я только взгляну,

вот честное комсомольское. Ну что ты хмуришься? Поверь старому каторжнику, — с некоторых пор Илья любил себя так называть, — девушка должна всегда улыбаться. И замужество ей обеспечено... Ну, как? Можно?

— Какие вы, посетители, несознательные! Можно да можно, а мне влетает.

— Не влетит. Я с Еленой Ароновной договорился, — врет он нахраписто и вдохновенно.

И вот он входит в палату. В освещенном из коридора проеме вырисовывается его угловатый, стройный силуэт.

— Дуся моя, ты где? Фу, темнотища! — он останавливается, боясь что-нибудь опрокинуть.

— Я здесь, Илюша, — тихо подзывает она.

Он идет на голос, ощупью придвигает себе табуретку, садится, берет ее руку, целует.

— Живая?.. Милый ты мой... А я ведь, как обещал, весь день проторчал на скамейке у входа. Ты это знала, чувствовала? Я был все время с тобой. Купил по дороге газету, сижу, пытаюсь читать, буквы скачут, как блохи. Закурю, побегаю по двору, сяду снова.

— И так ничего и не ел?

— Ел, ел. Тетя Домаша дала мне с собой бутерброды. Обо мне не волнуйся: даже слетал в молочную рядом, выпил кефиру. Мчался обратно, как угорелый: вдруг пропустил Елену Ароновну? К счастью, нет. Дуся моя, — он нежно касается пальцами ее лба. — У, какая горячая, потная. Здесь у вас вовсе нечем дышать. Потерпи, мой родной, главное теперь позади. Скоро пойдешь на поправку. Я уже знаю, какая ты героиня. Как ты отказалась от кресла, как ты красиво шла... Я прямо горжусь тобой. Сегодняшний день самый трудный, но вот он уже проходит... Я дождался Елену Ароновну и проводил ее до метро. Она говорит — ты прекрасно держалась. Скромно, достойно, ни разу не пикнула...

— А по-моему, я кричала, — сознается она.

— Нет, нет. Елена Ароновна тобой не нахвалится. Только вот долго не засыпала.

— Я слышала музыку "Джиннов", — вдруг вспоминает Нора. — И солнце садилось. Красное-красное...

— Это наркоз. А сейчас тебе больно?

— Нет. Просто немножко тоскую. Не я. А то место. Там какая-то скука. И хочется пить.

— Сегодня нельзя. А завтра я принесу тебе соки. Постарайся уснуть, малышастик. Ох, какая ты потная. Хочешь, я на тебя подую?

Он нагибается к ней и дует в лицо.

В эту минуту входит сестра.

— Посетители, все же надо совесть иметь!

— Почему она меня называет во множественном числе? — очень весело восклицает Илья. — Ты не знаешь?

— А как же вас называть? По-моему, я вас не обидела. Идите, идите. Просились всего на минутку, а сами...

— Иду, моя прелесть. Желаю удачи. Вот вам денежка и последите, будьте добры, за моей женой. Нельзя ли ей лед на голову?

— Я послежу. Ой, что это вы? Много.

— Не много, не много. Вас надо осыпать бриллиантами. Такая красавица, правда, Нора?

— Выдумывают, сами не знают чего. Идите.

— Иду. И буду здесь рано утром. Как штык. Постарайся уснуть.

— Постараюсь.

Илья исчезает. Сестра возвращается с резиновым пузырем. Он холодный и мокрый.

— Спасибо. Какое блаженство!..

— Я вам еще губы смочу, — говорит сестра. — А чудной у вас муженек. Все шутит! Хотя и старый.

— Да он не старый. Он гораздо моложе меня.

— Ну, это вы загинаете. Извиняюсь, конечно. Просто характер имеет легкий. Точно, как мой супруг... Умора! Откройте рот, я вам водички с ложечки. Самую каплю.

Это как раз та сестрица, по имени Галя, которая ей сказала в тот вечер: "Еще тукнете по башке!" Но Галя забыла об этом. И вот теперь сжалилась, напоила каплей воды.

— Вы не поверите, с чего у нас с Ленкой моим началось. Животики надорвешь! Хотите послушать?

— Рассказывайте, — незаметно вздыхает Нора.

Ей малость не до того, но что делать? Обидишь девчонку — потом и не подойдет.

— Иду это я по Бауманской, — вздохнул, совсем, как дети, которых изображает Рина Зеленая, начинает Галя, — а он понарошке толкает меня и давай заигрывать. "Мамаша, — говорит, — у вас что-то выпало". Ну, я, конечно, не растерялась: "Подберите, — говорю, — папаша, пока тепленькое". — Она заливается смехом, тоже детским и хриплым. — Гляжу, а он идет за мной следом до самого общежития. В комнату вваливается и говорит: "Завтра, мол, в Харьков еду. В командировку. Может, чего привезти?" Ну, я опять же не растерялась. А что? Раз сам предлагает, правда же? "Привезите, мол, груш. Я сильно груши люблю". — "Ладно, — говорит, — привезу". Галя хохочет. — И что бы вы думали? Привез, паразит! Является в общежитие. С чемоданчиком. "Вы, что ли, девушка, груши просили?" А я одевалась на танцы. "Ну, я". — "Гоните десятку". Раскрыл чемодан, а там полно груш. Да прямо одна к одной. Не жалко десятку отдать. Достала деньги, кладу на стол. "Берите, и наше вам с кисточкой!" Он не уходит, расселся. "Так, — говорит, — не отделаешься". Ну, это мне не понравилось. Не уважаю, когда меня на Бога берут. — Голос у Гали становится металлический. — "Спасибо, что привезли, — говорю, — а теперь мотайте отсюда, лично я на танцы пошла". Он сидит, как приклеенный. "Хоть коменданта зовите, хоть, — говорит, — мильтона, — с места не двинусь". Так, паразит, и остался. Ну, и это. Ругались, ругались мы с ним... Да разве его переспоришь? Сошлись и живем. Вот уж скоро два года. — Галя воркует голубкой: — И знаете, я нисколько не жалею. Веселый, руки не распускает. Ну, выпьет когда. Шоферюга все-таки. Да и кто же нынче не пьет? — Тошнит, — стонет Нора.

— А я вам сейчас таблеточку дам, авось, полегчает.

Какая тоска!.. Временами Нора задремывает, потом просыпается. Ей тягостно, душно, дурно. Порой кто-то длинно кричит вдалеке: "А-а-а-а-а..." Вера Георгиевна лежит, не шевелится. Свет в коридоре уже погашен, лишь настольная лампа за ширмой отбрасывает желтые отблески на линолеум.

Она, наконец, уснула и приснился ей сон. Будто шея вдруг стала расти, тончать, удлиняться, а голова, протиснувшись между прутьями в изголовье кровати, взмыла, как шарик на ниточке, к потолку. А Нора будто снизу наблюдает за ней и видит, что голова, пометавшись, побившись там, наверху, затылком вдруг устремляется к форточке и вылетает на улицу. Теперь голове стало легче, лицо овеивал ночной воздух, волосы шевелились, она ныряла в белесый пар облаков, купалась в них и выныривала с осевшими на щеках и на лбу прохладными капельками и, пожалуй, умчалась бы прочь от больницы, от спящего темного города, когда бы не шея, которая ее еще связывала с беспомощно распростертым на койке телом. Нора сама не знала, где находится то, что есть ее "я", — там, с витающей в облаках головой, или здесь, с этой жалкой, ноющей, низменной плотью. Сердце стискивал страх: что, если шея не выдержит натяжения, лопнет, и голова улетит, затеряется в черной пустыне неба?

Она проснулась в холодном поту. Сестра стояла над ней и щупала ее руку. Галины пальцы нервно бегали по запястью — выше, ниже, что-то искали, видимо, пульс, — потом отбросили, почти оттолкнули безвольно упавшую кисть, и Галя опрометью выскочила вон из палаты.

— Аркадий Борисыч, скорее, скорее, — орала она в телефон, — у меня тут ниточка, ниточка!

Нора подумала, усмехнувшись: "Не та ли уж ниточка, на которой летала моя голова?"

Вскоре в палату вбежал вместе с Галей какой-то гигант — наверно, дежурный врач.

— Вот она, эта больная, — сказала Галя. — Как она у меня застонет, как захрипит... Ну, думаю, все.

— Что вы чувствуете? — спросил гигант, беря Нору за руку.

— Не знаю. Как будто я отсидела обе ноги... И даже вокруг рта как будто мурашки бегут, — слабо ответила Нора. И вдруг, оживившись, спросила: — Я что, умираю?

— Не болтайте-ка ерунды, — грозно прикрикнул он. — Галя, быстро, глюкозу и кальций в вену, затем — капельница с адреналином и мезатоном.

Засуетились, забегали, игла в вену, запах эфира, снова игла в вену... И пропала тоска. Так же мутило, так же хотелось пить, а тоски не было. Нора усердно прислушивалась к себе. Не каждый день человеку случается умирать.

КАЖДОМУ СВОЕ

Однажды к Вере Георгиевне в полном составе нагрянуло "белое духовенство", и "крошка Цахес", профессор, откашлявшись, торжественно объявил, что она вытатила счастливый лотерейный билет, что у нее не рак, а самый что ни на есть ординарный, вполне доброкачественный полип. Все стали хором ее поздравлять, и каждый по очереди к ней подходил, пожимал и тряс руку. Еще бы! Исключительный случай, один на тысячу, а то и на десять тысяч! Затем, возбужденно переговариваясь, они удалились, и Нора с Верой Георгиевной остались одни.

Вера Георгиевна чувствовала себя еще плохо — как-никак у нее был взрезан живот, ей даже пить пока не давали — и заговорила она еле слышно, каким-то хнычущим голосом:

— Что это, Нора? Что это? Неужто не врут?

Нору, как ей показалось вначале, привел в раздражение именно этот ее неуместный, плаксивый тон.

— То есть, как это врут? — возмутилась она. — Какой же им смысл? Вам бы радоваться, а вы... И не совестно? Врут! Мне же вот ничего не сказали! — и тут она поняла, что ее так покорило.

Хоть Вера Георгиевна в палате была не одна, никто из врачей, включая Елену Ароновну, не подумал, что совершает по отношению к Норе пускай не жестокость — бестактность. Ее в ту минуту для них не существовало. На нее и взгляда не кинули. Столпившись у койки Веры Георгиевны, стояли к Норе спиной.

А впрочем, и Верушка, несмотря на их поздравления (безусловно искренние) и рукопожатия (тоже от всей души), была, возможно, для них не более, чем медицинский казус, один на тысячу, весьма любопытный с точки зрения науки.

Норе вспомнилась одна женщина из больницы имени Склифасовского. У Норы был перелом лодыжки, тяжелый, открытый, с подвывихом, но случай не интересный, вполне рядовой — только у них в палате насчитывалось три подобных же травмы. А у той женщины, зацепившейся каблуком за подножку троллейбуса, отломился кусок пятки. Ей эту пятку прибили гвоздем, и женщина скоро поправилась. Студентов, однако, водили к ней целыми табунами. "А тут у нас пяточка", — говорил профессор неподражаемым тоном, в котором слышалось и лукавство, и гордость, и удовольствие. Глаза у него блестели, будто в них только что закапали белладонну, седые мохнатые брови, морща в гармошку лоб, играли и вскидывались. Женщина была умна и интеллигентна, она веселилась, подыгрывая профессору, но, прощаясь с Норой, сказала без всякой горечи, с юмором: "Разве я была для них человеком? Просто занятная пятка! Что ж, я не в претензии. Зато мне отлично сделали операцию".

Вот и Вера Георгиевна войдет в анналы больницы, как человек-полип. Обижаться на это глупо. Врачей ведь тоже можно понять. Здесь настоящая фабрика, унылое производство по вырезанию раковых опухолей, и такая приятная неожиданность, как безвредный полип желудка, — это праздник, настоящая фиеста, которую им охота обставить подобающей случаю церемонией.

Нора смягчилась.

— Вера Георгиевна, — с чувством сказала она. — Я вас поздравляю.

Но за то время, пока Нора все это обдумывала, настроение Верушки тоже успело перемениться.

— Спасибо, спасибо, — снисходительно отвечала она, уже отделившись от Норы, от этого скопища обездоленных и несчастных, от больничного мертвого мира.

Верушка часто разглагольствовала о том, как она любит советский народ, особенно женщин. "Я за них душу отдать готова, — говорила она, — квартиру, путевочку выбить, устроить сына в Нахимовское училище — буквально во всем иду им навстречу!" Так оно, наверно, и было. Но женщин она любила лишь выносливых, боевитых, неунывающих.

А в больнице она впервые столкнулась с какими-то странными, чахлыми, стонущими и, главное, строптивыми существами. Но что ей было особенно тяжело — болезнь грубо отторгла Веру Георгиевну от массы, незаметно выветрила ее из этой глыбы, из монолита и превратила в такую же, как и прочие здесь, ущербную личность.

Но вот же есть справедливость на свете! У Веры Георгиевны не рак, она вскоре выздоровеет, уйдет из больницы и забудет своих товарок, как забывают, окунувшись в дневную текучку, кошмарный ночной сон.

Дело в том, что народ не болеет раком, рак — печальная привилегия отдельных неслухов, заслуженная кара за наглость, за опасную автономию. Теперь всех этих злосчастных, с придурью баб можно и пожалеть. И она сказала:

— Ничего, вы тоже, может, поправитесь, Нора. И вернетесь в строй. Наши замечательные врачи...

— Не утешайте меня, — перебила Нора. — И не чувствуйте себя виноватой. Я вам не завидую.

— Как это? — искренне удивилась Вера Георгиевна.

— Так. Не завидую. У каждого своя доля. "Jedem — das Seine".

— Чего?

— Такая надпись была на воротах фашистского лагеря "Бухенвальд": "Каждому — свое".

— Точно! — воскликнула Вера Георгиевна. — То есть... Я не то хотела сказать... В общем...

— Да вы не пугайтесь, — любезно улыбнулась ей Нора. — Не надо меня бояться.

И обе умолкли.

А на следующий день Елена Ароновна перевела Нору из послеоперационной палаты в прежнюю, где за ней сохранилась койка. Пожелав соседке всего наилучшего, Нора ушла.

Едва она появилась в своей палате, Томка кинулась со всех ног расстилать ей постель, Иоганна Карловна, подняв от книги глаза, сказала: "Ну, слава Богу, люблю, чтоб все наши были на месте", Берта, ни слова не говоря, поставила на ее тумбочку миску с натертой морковью, Роза подошла и звонко чмокнула в щеку. "Мои, — подумала Нора. — Мои".

СДОХНУТЬ СВОБОДНОЙ

Когда два года назад Нора вышла от Склифосовского на костылях, она поразилась, сколько в Москве людей со сломанными ногами. И тот идет в гипсе, и этот... Так и сейчас. Стоило ей спуститься во двор, как сразу она обратила внимание на то, чего прежде не замечала. Чуть не каждая третья женщина была кособокой.

Особенно страшно было смотреть на толстух — у, как их безобразила яма на месте одной из грудей! "Неужели и я такая? — подумала Нора. — Ничего себе, амазонки!"

Было во внешности этих женщин еще что-то неуловимое, неприятно отличавшее их от прочих. При картофельно-бледной одутловатости черт — их странная жесткость, суровость, таящаяся в выражении глаз, в складе губ, в овале лица.

Едва Нора, устав, успела присесть на скамью, как к ней подошла высокая, полная женщина с огромной бородавкой над бровью, похожей из-за подстриженных седых волосков на репей.

— Ну как, подруга, тестостероном еще не колют тебя?

— А что это?

— Мужские гормоны, — ответила женщина и, поколебавшись, под села к ней на скамейку. — Мне вот колют, — продолжала она, — так я прямо ума решилась. Ты глянь, на кого я похожа? Мужик и мужик! Титька — что, титька — хрен с ей. Как выйду отсюда, насыплю в мешочек льняное семя, засуну в лифчик, никто не заметит. А голос? Ведь бас у меня прорезался, ну чисто — Шаляпин! А главное... Броюсь ведь я, подруга. Каждое утро в туалете броюсь! Щетина, как у свиньи — потрогай. Ну, можно ли дальше жить? Перед детьми, они у меня уже взрослые, перед соседями стыдно! — она заплакала.

Нора лишь теперь поняла, что выделяло в толпе этих женщин, ее подруг по несчастью: их м у ж е п о д о б н о с т ь.

— А это потом не пройдет? — дрожащим голосом спросила она.

— Да врачи-то сулят, — сморкаясь и всхлипывая, ответила

женщина. — Они хоть с три короба наобещают... Им что? Только бы с рук сбегать!.. Тебя когда оперировали?

— Пять дней назад.

— Скоро еще облучать начнут. Меня на десятый начали... Вот тоже мука! Слабость одолевает, мутит, голова кружится. Лейкоциты, что ли, какие-то падают? В общем, это... Вдрыпа-лись мы, подруга. По уши мы, подруга, в говне сидим...

Она снова заплакала. Слезы текли, заливали ее лицо, об-рузглное, бледное, заросшее седоватой щетиной, по подбород-ку, щекам и выпирающей круглым валиком шее.

— Тут одна женщина есть, — продолжала толстуха, обте-ревшись влажным платком, а потом еще и полой халата, — ни за что, говорит, не дамся тестостерон этот самый колоть. Очень, говорит, надо! У меня, говорит, муж молодой! Пожи-ву, говорит, бабой, сколько удастся, а сдохну — туда и доро-га. И еще одна есть, с четвертого этажа. Той прошлый год од-ну титьку отрезали, а нынешним летом — вторую... Да вон она! Катя, Катя, подь-ка сюда!

К ним приблизилась стройная, среднего роста женщина, такая худенькая, что халат чуть не дважды обертывался во-круг ее талии. Темно-русые волосы, разделенные на прямой, не модный нынче пробор, были небрежно завязаны на затыл-ке шнурком, так что сзади торчал короткий растрепанный хвостик, похожий на малярную кисть. Круто обсыпанное веснушками, размером и цветом, как жареные зерна гречи-хи, лицо ее, тем не менее, было отмечено строгой значительно-стью. И если б не хвостик, она бы напоминала народницу или курсистку конца девятнадцатого столетия.

— В чем дело? — спросила женщина.

— Рассказала бы нам, почто не хочешь колоться, почто от рентгена отказываешься... Может, наука чего превзошла, а мы и не знаем? Садись-ка, садись, в ногах правды нет. Ну?

Катя нехотя опустила на кончик скамьи, а толстуха, вся подавшись вперед, с доверчивой и тем особенно жалкой улыбкой приготовилась с упованием слушать.

— Почто? — усмехнулась Катя. — Нет, про науку мне ничего не известно. По науке оно, возможно, и правильно. Да только

мне не подходит. Я могу им позволить вырезать опухоль. Но менять мою личность! Это — увольте.

— Как — менять личность? — удивилась толстуха. — Что борода-то на личности вырастет и усы?.. Ладно, это уколы. А облучение?

— Все! — воскликнула Катя. — Все вместе меняет личность. Я имею в виду — мою бессмертную душу. В тридцать два года искусственно вызовут климакс, насильно навяжут чуждые мне пороки, капризы, перекроют по своему произволу характер... Нет-нет, я желаю остаться собой.

— Что ж, и характер зависит от облучения? — в полной растерянности спросила женщина с бородавкой.

— Не знаю. Но слишком уж глубоко вся эта не очень понятная химия, не изученные лучи проникают в наш организм, и толком никто не знает последствий. Вот, например, облучают гипофиз. Говорят, что для подавления гормональной деятельности. А если они заодно убьют мозг? Я не могу допустить, чтоб мне убивали мозг. Или уколы тестостерона. Вторичные половые признаки, — безжалостно кивнула она на толстуху, — уже налицо, полюбуйте на Лиду! А нрав? Разве натура женская не отличается от мужской? Я бы не прочь превратиться в мужчину, но не по прихоти химии или каких-то лучей!

Углы ее губ презрительно опустились.

— Без груди я все-таки человек. А вот с вывернутой наизнанку душой... Нет-нет, без меня! До свиданья, — сказала она, не трогаясь со скамьи и уставившись в одну точку.

Лида заплакала.

— Бывайте здоровы, живите богато, — угрожающе добавила Катя, словно обращаясь ко всему человечеству. — Лично я собираюсь сдохнуть свободной.

И опять надолго умолкла.

— Мало формирует нас общество! — вдруг злобно сказала она. — Так еще медицина начнет разливать людей по изложницам! Не пойдет.

Заметив пристальный взгляд Норы, Катя надменно вздернула брови.

— Думайте, что хотите. Плевать мне на это. Можете даже стукнуть. Я больше не досягаема.

Вот тут она встала и, пряменькая, удалилась, не оборачиваясь.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ АВРААМА

— Кто эта девушка? — тихо спросила Нора.

— Какая-то чокнутая. Наговорила-наговорила, семь верст до небес! Ничего я не усекла, — вздохнула толстуха. — Бывайте, говорит, здоровы, живите богато! Уж и не рада, что позвала. У самой, небось, денег навалом, так думает, что у всех. К ей батька сюда на машине подкатывает. Генерал. На штанах полоски нашиты. Ва-аж-ная птица!

— А она не работает?

— Так, время проводит. Не бей лежачего, одно баловство! Статуи вырезывает из дерева... Не то, что, как я, к примеру, в подсобке. Да где? В винном отделе. Потаскай-кося ящики с пивом — кишки оборвешь! У меня уж и без того упущение матки. А теперь и вовсе: под рукой-то подрезано... И до пенсии далеко, — Лида заплакала.

Нора решительно встала. Голова у нее кружилась, колени дрожали, но и слушать дальше толстуху не было сил. А кроме того, ей надо было скорее переварить слова Кати: "разливать людей по изложницам" и — "можете стукнуть!"

"Да как она смеет? Не досягаема... Вот сейчас найду ее и скажу... Но что за безумица! Мало формирует нас общество... А отец генерал. Занятно! Поговорить бы с ней... Какая тоненькая, прямая... Стукнуть! За это дают по морде... Нахалка! Да вот она, с Аурелиу!" — Нору ударило в самое сердце.

Аурелиу, по ее представлениям, принадлежал ей одной. Улыбаться он мог всему свету. Дружить — дружить только с ней. Он же ей дал талисман. Он ей рассказывал самое заповедное... И вдруг — эта Катя.

Нора их обогнала, не повернув головы. Неужели он не окликнет? И не подумал. О чем они там говорят? Ни слова не слышно... Да знает ли он, что у Норы была операция? Ты же все чувствуешь, ясновидец! Ты же мысли умеешь читать, шарлатан!

Повернувшись — так резко, что чуть не упала, — Нора пошла им навстречу. О, какой же он маленький и смешной! Седой хохолок надо лбом вздыблен ветром. Аурелиу улыбался, но даже его улыбка показалась ей вымученной и фальшивой.

— Здравствуйте, — сказал он. — Как я рад, что вы уже на ногах! Познакомьтесь, пожалуйста.

— Мы знакомы, — буркнула Катя.

— Эта женщина только что меня оскорбила, — холодно глядя ей прямо в лицо, заявила Нора.

Катя с минуту молчала.

— Вы должны извиниться, Катя, — тихо сказал Аурелиу.

— Не знаю, что между вами произошло, но только вы непременно ошиблись. Я в этом уверен.

— Возможно, — сказала она. — Простите.

— Милые, — попеременно заглядывая обоим в глаза, сказал Аурелиу, — нельзя вам чураться друг друга! Хотите, я вас оставлю? — и, попятившись, он отступил шага на три, потом повернулся и поспешно засеменял от них по аллее.

— Ну и чудак, — помотала головой Катя. — Сядем, пожалуйста. Вас как зовут?

— Нора.

— Я что-то там брякнула, извините. Вы что в этой жизни делаете?

— Пишу...

— А я реставратор. Работаю в мастерских. Занимаюсь русской деревянной скульптурой... Кроме своих Георгиев да Никол я все ненавижу. А вы?

— Я — нет. Далеко не все. А вы — прямо все? Но это ужасно... Я... я не верю. Почему вы такая?.. Это, наверное, от болезни. Болезнь наша кого угодно с ума сведет...

— При чем тут болезнь, — махнула Катя рукой. — Она уж скорее следствие.

— А правда, что ваш отец — генерал? — спросила Нора.

— Именно. Да не какой-нибудь, а чекист. Осуждаете? — Катя словно торжествовала.

— В общем, да, — с запинкой сказала Нора. — Не вас, конечно. А этих людей.

— Имеете основание?

— Имею.

— Так. Ясенько. Муж?

— И муж. И отец. А впрочем... Если бы только они...

— Угу... Но мой старик по-своему честный. Да. И тоже сидел, между прочим. За то, что не предал друга. И ведь куда попал-то? В Норильск. Они там чуть ли не целый год не знали, что началась война. А однажды гонят их на работу — валяется спичечный коробок. Отец поднял. Обрадовался. Спички — это же ценность! Незаметно сунул в карман. А остался один — вынул. Там бумажка какая-то, со стихами. "Жди меня, и я вернусь". Прочел, понравилось, заучил наизусть, бумажку порвал. Даже в голову не пришло, что стихи — про войну. Кто, как не зэк, такое напишет? "Жди, когда других не ждут, позабыв вчера". Прочитал в бараке, кое-кого проняло аж до самой печенки. И пополз по лагерю слух. Стали к нему приходить: прочти-ка свои стишата, больно, говорят, хороши. Докатилось и до начальства. Сначала до младшего. Вызывают: "Твои стихи?" Мои, мол. "А-а, сук-кин сын, бежать задумал? Как это так — вернусь?" Потом и до старшего. Тот с маху: "Не стыдно вам плагиатом-то заниматься?" Почему — плагиатом? А потому, говорит, что стихи эти Симонов написал. Какой? Константин? Да. Отец прямо за голову схватился. Батюшки-светы! Неужто и Костя сидит?.. Они с Симоновым на воле были знакомы... Вот так он узнал про войну. Ясенько?

— Интересно, — сказала Нора.

— А вернувшись домой, он застал у мамы любовника. Тот сидел и пил чай в отцовской пижаме. Отец, не сказав ни слова, ушел. А идти ему, прямо сказать, было некуда... Теперь он женат, имеет двоих детей, но меня не бросил. Учил. До сих пор помогает. Хотя я и замуж успела сбежать. Деньги беру у него через раз. Совсем отказаться — вроде брезгую им... А вы брали бы деньги у такого отца?

— Не знаю. Мне трудно себе представить... У меня был другой отец... — А какой у него характер? — спросила Нора.

— Характер? — задумалась Катя. — Разве тут дело в его характере? А вообще-то, вот две истории. Можете судить сами. Идет он как-то по Красной площади, жена висит на его руке — она его обожает — и вдруг говорит: “Петя, Петя, какое все-таки счастье, ты здесь, а он там” — и кивает на мавзолей. Это она про Сталина. Отец вырывает руку, рычит: “Мерзавка! Мерзавка!” Не потому, что такой сталинист. Ума у него хватает. А просто заело: как она может смешивать личное и общественное... Теперь — вторая. Приходит к нему человек, приносит “телегу”. Да на кого? На родную жену. Что в самый разгар кампании против Борис Леонидыча она в гостях предложила тост за эту ракалию. “Да-а, — протянул отец, — изрядная вы скотина!” И предупредил жену того типа: учтите, мол, с кем живете. Да только помалкивайте, что я вам сказал, не то в другой раз не ко мне, а к кому повыше с “телегой” пойдет... Ясно? Вот он какой. Не самый худший вариант, правда? Но мне не подходит все остальное.

— Что?

— Хотя бы вот мавзолей. Это что за идея такая? Дикость. Восток. Индия!.. Или пресловутое “частное — общее”. Почему это у нас антитеза? Почему человек всегда агнец, приготовленный для заклания? Как в Ветхом Завете: жертвоприношение Авраама. Однако даже суровый еврейский Бог отказался от жертвы. Наш бог не отказывается. У нашего вся бородаща в крови... Или ситуация с этим типом. Зачем он “телегу” принес? Испугался, голубчик. Свидетелей было много. Но, с другой стороны, а как же не испугаться? Почему нас ставят в такие условия, что мы должны бояться свидетелей? Я не желаю больше бояться. Так я решила: не бояться, и все. И не врать.

— Не врать? — удивилась Нора. — Но это не так уж трудно. Я тоже не вру. Почти. А что толку?

— Не врете? — воскликнула Катя. — О нет, вы врете. Вы врете на дню сто раз! Все врут. Ложь во спасение, ложь из трусости, ложь во имя идеи, ложь, как милостыня, ложь ради пользы дела или просто ради удобства, ложь материнская, обывательская, гражданская, ложь зайца, осла или тигра

(несть числа ее разновидностям, ее хитрым уверткам!), и люди врут, врут, врут — даже самые лучшие, как наш Аурелиу. Даже святые. Знаете, Нора, ведь он святой. Обыкновенный святой. В это не верится... Но когда явился Иисус, и в него ведь никто не поверил. Люди настолько испорчены, что путают святость с лукавством. И все-таки Аурелиу врет. Мы сейчас спорили с ним. Он говорит: надо. А вы как считаете?

— Разве из милосердия? — полувопросом ответила Нора.

— Он тоже кивает на жалость. Но где же границы? Любую неправду можно тогда объяснить сочувствием к человечеству. Мол, так ему лучше — не знать. Спокойнее. Не знать про Норильск, про Освенцим — подумайте! Миллионы русских и немцев понятия про них не имели и были счастливы. Что вы на это ответите? Что?!

Нора молчала.

— Нет, я давно пришла к мысли: человек важнее вселенной. Счастье одного человека весит больше, чем счастье миллионов. Миллионы не имеют права жить счастливо без того, одного.

— А вы... вы, Катя, согласны, — спросила Нора, — для счастья миллионов, для счастья этих заблудших — стать Исааком, жертвой?

Катя раздумывала, потупив долу свои непреклонные очи.

— Я-то согласна, — скривившись, сказала она. — Да им-то счастья не будет.

Обе умолкли. К ним подошел Аурелиу. Он улыбался.

— Мучает? — спросил он. — Поборница правды — мучает?

— Мучает, — ответила Нора.

— Вы бледны, — сказал он. — Вам надо лечь. Мы вас проводим.

Они встали, и Аурелиу взял Нору под руку. У него оказалась твердая, властная хватка, совсем неожиданная.

ВЫСШАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Вечером Нора встретила Аурелиу в коридоре.

— Я вас тут караулил. Нам надо поговорить... Не слушайте Катю, прошу вас!

— Как так — не слушать? Она говорит интересные вещи.

— Верно. Человек она замечательный, в своем роде... Но я о другом. О лечении.

Быть может, впервые с тех пор, как они познакомились, ни один его глаз не смотрел на нее. Лицо Аурелиу показалось ей искаженным болью. Он даже не улыбался.

— Как? Вы, прирожденный мистик, в данном случае стоите за радио? По-вашему, надо следовать разумным советам врачей?

— Да! — воскликнул он. — Да! Катя не верит ни в химию, ни в лучи. Она одержима идеей сохранить свое "я" в неприкосновенности даже ценою собственной жизни. Но жизнь невосстановима. Я это знаю. Слишком хорошо знаю. Ничто, никогда не вернет мне брата... У всякой жизни есть свое назначение. И пока оно не исполнено... Вы не должны погибнуть. И вы непременно выкарабкаетесь, я вам обещаю!

Вот тут, поборов усилием воли свое косоглазие, он направил Норе в лицо прямой, очень темный взгляд.

— Послушайте, Аурелиу... Я еще ничего не решила. Но это ведь правда ужасно — то, что меня, нас всех, таких, как я, ожидает... Меня и так уже изуродовали...

Он сделал резкое протестующее движение.

— Да, изуродовали, — со злым упрямством повторила она.

— А потом еще каждое утро бриться? Покорно благодарю! Он сказал:

— Ах, Нора, Нора... Какое это имеет значение?

— Перед лицом вечности — может быть, нет, а так, в обыденной жизни, имеет. Имеет! — сказала она. — Но главное все-таки — мозг.

Молчите, — остановила она его. — Я знаю, что вы мне скажете: облучение гипофиза ни у кого из пациентов идиотизма пока не вызвало... А много ли среди них было... ну, хоть бы тех, кто пишет? И ведь этим варварским способом лечат одних только женщин, да притом, лишь с моей болезнью. Скольким пишущим женщинам облучали гипофиз? Станете ли вы утверждать, что за ними велось многолетнее наблюдение? Вряд ли они интересовали врачей в этом плане! Уверяю вас, Аурелиу, статистика тут безмолвствует. Так что все не так просто, увы.

— Кто говорит, что просто, — ответил он. — Но вас несколько не изуродовали. Наоборот.

— Да перестаньте же, Аурелиу. Право, смешно.

— А мне смешно, что вы мне не верите, Нора. Печать страдания на вашем лице, на всем вашем облике...

— О да, конечно! — бешено вскричала она. — Это как раз та печать, что приводит мужчину в восторг! Они прямо тают, млеют при виде этой печати!

— Я, между прочим, мужчина, — сказал Аурелиу. — Заявляю вполне официально.

— Вы? Вы? — она задохнулась. (Никогда он не перестанет ее удивлять.) — Но вы же...

— Юродивый? — он улыбнулся. — Но вам ведь это и нужно. Вы именно это и ищете! Так вот, запомните хорошенько то, что я вам скажу: вы прекрасны, Нора. И если у вас изменится голос, он станет еще приятнее — своей хрипотцой, своим тембром. А пушок на лице — ну, что ж... он только придаст вам шарм. Ничто вас не в силах испортить! И знайте, что есть человек... Одним словом, живая душа, для которой... — Аурелиу взял ее руку.

— Надоела мне ваша блажь! — рассердилась она и попыталась выдернуть руку. Он не отдал. — Вы говорите с какой-то другой женщиной, не со мной. Из жалости вы даже стали разыгрывать роль, отнюдь вам не свойственную: мужчины, который готов меня полюбить... Но если хотите знать, это подло! Подло! — Нора с силой вырвала свою руку.

— Но почему же "готов"? — мягко сказал Аурелиу. — Я вас уже люблю.

— Ложь — вскричала она. — Мелкая, глупая ложь! Так, как вы меня любите, я вас тоже люблю... Ну, и что? Вам от этого легче?..

Он немного подумал.

— Слушайте, Нора. Я бы, наверно, вас убедил, если бы в моем тоне невольно не прозвучал сюбжонктиф... Опухоль у меня застарелая, острозлокачественная. Я говорил правду, но в сослагательном наклонении. Будь я здоров...

— Будь вы здоровы, — горько сказала она, — вы б в мою сторону даже не посмотрели, а удрали бы от меня в тридцатое царство. Потому у вас так легко и текли все эти цветистые фразы...

Он тяжело вздохнул.

— Вы очень несчастны, Нора?

— А вы разве счастливы? — огрызнулась она.

— Видите ли... — сказал Аурелиу.

В этот момент сестра погасила свет, и коридор почти весь утонул в темноте. Только в прорезях ширмы ярко сияла настольная лампа.

Аурелиу и Нора стояли у подоконника, прямо напротив палаты смертников. Там этой ночью ждали кончины Любви Михайловны — той самой, у которой был удален мочевого пузырь и чей муж, как верно отметила Паня, совсем перестал ее навещать. Уже целые сутки она была в забытии и не видела оставленных сыном у ее изголовья красных гвоздик, а то, что она жива, подтверждали лишь редкие капли мочи, стекавшие через трубку в бутылку под кровагью.

— Видите ли, — уже шепотом повторил Аурелиу, — со мной-то все справедливо. Так что я даже отчасти рад.

— Рады? Чему?

— Если нас не прогонят, хотите, я доскажу вам свою историю? Здесь очень уютно. Садитесь на подоконник и дайте мне руку. Вот так. И не надо ее вырывать. Ну-с... На чем мы остановились?

— Отца увезли в карете.

— Да. Но, как часто бывает с буйными, он быстро поправился и вернулся домой. А я продолжал тосковать по маме и

брату. Впрочем, я ел,пил, дышал и даже однажды сильно расстроился, порвав рукав гимназической курточки. Словом, я не лежал, как они, в гробу, а гулял по земле... Вам удобно сидеть?

— Да, да.

— И вот как-то ночью я проснулся от жажды. Встаю, прохожу темной комнатой, где у нас спала экономка, и вижу пустую кровать. Тогда я, не долго думая, кидаюсь по внутренней лестнице в спальню отца, врываюсь, паценок, без стука и зажигаю свет. Они лежат вместе. "Мама! — кричу я. — Мама!" Это было ужасно. Я в ту же ночь убегаю из дома, и это уже навсегда... Приютил меня один старичок, друг нашей семьи.

— А отец?

— Отец приходил, топал ногами, орал, проклинал... Я не слушал. Окончив гимназию, я решил учиться на доктора. В те годы в Румынии заполнялись анкеты с позорной графой: национальность родителей. С отцом было просто — он-то румын, а о матери я написал, что она скончалась тогда-то, и точка. Совесть едва не сгрызла меня. Зато я был принят.

Лица его Нора не видела, он стоял спиной к ширме, и лишь седой, вздыбленный, как всегда, хохолок, серебрился над его головой.

— В сорок первом, — помолчав, сказал он, — мы вступили в войну с Советским Союзом. Меня призвали в армию и послали на фронт... Счастье, что я был медик, хотя и не доучившийся. Я ни разу не выстрелил и никого не убил. Только одно и утешает меня в моем непрестанном падении со дня смерти мамы и брата: я никого не убил. Как ни гневался Бог — от этого он упас мою душу. Провидение знало: слишком много грехов разжижают чувство вины. Моим же уделом было казниться бесчестьем, отступничеством. И его искупать...

Тут сестра (сегодня опять дежурила Галя), не заметив их, прошмыгнула мимо, в палату смертников. Они застыли, ожидая, пока она выйдет — Аурелиу крепко сжал Норе пальцы, — но Любовь Михайловна, видно, еще дышала: лицо сестры было буднично озабочено, и она в полутьме опять-таки не узрела двух злостных нарушителей больничного распорядка.

— Когда я обдумываю теперь свою жизнь, — зашептал Аурелиу, едва Галя вновь водворилась за ширму, — а досуга на это хватает, я не устаю изумляться разуму тайного Божьего промысла. Да вот, посудите сами. Наша часть, пройдя сквозь Молдавию, вышла к Днестру и остановилась в городе Могилев-Подольский. Как-то вечером я, гуляя, набрел на ворота лагеря. Лагерь этот был под эгидой румын, и меня туда пропустили. Я направился прямо в санчасть и весь вечер поговорил с врачом, моим отдаленным знакомым по университету. Он рассказывал разные ужасы, как, например, когда наводили мост через Днестр, в один из быков был заживо замурован еврейский ребенок — мальчик тринадцати лет.

— О Боже, зачем? — воскликнула Нора.

— Предрассудок, средневековые... Чтоб крепче был мост... Ну, и другое рассказывал. Как заключенные у них голодали. Вот вчера, он сказал, умерли в лазарете старик со старухой. Очень славные люди. И добавил, что они пытались через него разыскать в Бухаресте родственника — не пришлет ли он им посылочку сухарей? Доктор сжалился и отправил письмо стариков в Красный Крест. Ничего, однако, не воспоследовало, так что голодный понос их скосил: старик умер первым, еще до рассвета, старуха пережила его на два часа... И вот верите, Нора? На меня снизошло откровение. Будто протер я рыбьей желчью глаза, как библейский Товия, и прозрел! Уже зная ответ, я спросил: как фамилия родственника? Он назвал ее. Это был мой отец. А умершие с голоду старики — родители мамы. Пока я беспечно гулял по городу в офицерских погонах, мои дедушка с бабушкой... — он умолк, тяжело дыша.

Нора не шевелилась.

— Теперь я знал, что мне делать, — начал он снова. — Я больше ни дня не хотел оставаться в армии. Я решил дезертировать. Раздобыть цивильное платье и скрыться. Утром купил его на толкучке, переоделся в уборной и спустил в очко поганую военную форму.

— И куда ж ты пошел, любимый? — хрипло спросила Нора, чувствуя, как ее всю внутри обожгло, опалило единым сло-

вом. И тут же спросила себя: так? И, прикрыв глаза, ответила: так.

Аурелиу вздрогнул. Он поднял к ней лицо и, кажется, даже привстал на цыпочки, чтобы лучше ее разглядеть. Потом на мгновение приложился лбом к ее животу.

— Я пошел по дороге, — глухо ответил он. — Выбрался за заставу и пошел по дороге в поле. Я не знал, куда я иду. Просто шел по дороге, понимая одно: наконец-то я возвращаюсь. К маме, к брату, к себе.

— Тебя схватили?

— А как же. Переночевал разок на свободе, в стогу, под звездами, а наутро меня поймали. И судили военным судом. И дали расстрел. Семь дней я прожил в ожидании смерти...

— Что ты чувствовал? Страх?

— Нет. Поверь мне. Я чувствовал, что свершается высшая справедливость. Смерть настигла клятвопреступника. Я был спокоен. Но меня помиловали: расстрел заменили каторгой. Учили, что я дезертировал в состоянии аффекта. И послали меня в Румынию, добывать для людей соль.

По голосу было слышно, что он уже улыбается.

— Ты никогда не видела соляные шахты? Не представляешь себе соляной купол? Это когда тектоническое давление выжимает, выпучивает пласты в виде огромного свода, который сверкает, искрится кристаллами соли, как усыпанный драгоценностями... Выйти оттуда я не надеялся. Лишь иногда удивлялся превратностям странной моей судьбы, занесшей меня в пещеру из сказок Шехерезады... Но осенью сорок четвертого нас освободила Советская армия. Я мог направить стопы в Бухарест, но я сел на землю за воротами лагеря... и знаешь, о чем я думал?

— О чем?

— О родине. Я понял, что больше ее не люблю. Эту предательницу, эту отступницу. Потому что, хоть я и винил отца, но ведь это не он, когда его вызвали в сигуранцу, отказался от умирающих стариков. Еще прежде него от них отказалась родина. Когда-то у меня были мать, брат, отец, родина. Теперь не было никого, ничего. Я не умел жить без родины, Нора.

Человек может всех потерять. Но не все... И я решил идти на восток, в Советский Союз. Я пошел на звезду...

Нора крепко сжала его руку.

— Да. Я влился в колонну беженцев на дороге. Брели дети, женщины, старики, тарахтели тележки, скрипели немазаные колеса... По ночам мы разжигали костры. Было холодно, иней лежал на траве, я зяб в своей арестантской одежде... На границе нас всех интернировали.

— Ну, ясно, — сказала Нора.

— Нет, нет! Ты только не думай, что я обиделся. А как же иначе? Ведь шла война. Я и сейчас так считаю: нас безусловно надо было проверить. Иные кричали и плакали, а я ходил, утешал, увещал... Я весь, до самого донышка, принадлежал своей новой родине, она стала всем для меня, я был ее сын...

Аурелиу долго молчал. Собирался с духом.

— Нас согнали в лагерь под Кишиневом...

— погоди, — перебила Нора. — И какой же из двух показался тебе страшнее?

— Видишь ли... Копи — это не только сверкающие кристаллы. Это еще и кирка... И полная безнадежность. Но здесь... Мне было очень плохо. Днем лили дожди, ночью земля подмерзала. У меня не было никакого имущества — ни ложки, ни плошки. Даже баланду не во что было налить. К смерти я приготовился, Нора. Но к этому унижению — получать похлебку в ладони... Нет! Лучше уж умереть. Кое-кто из тех, кого я агитировал, умер, однако, раньше меня. Через неделю я подобрал консервную банку. Она меня и спасла.

Нора свободной рукой погладила ему голову. Потом тихонько пробралась за ворот пижамы и концами пальцев погладила шею. И не убрала руки.

— К голоду, — продолжал Аурелиу, — в общем-то я привык, притерпелся. Он меня не особенно мучил. Но вот уборная... Она там была совершенно не огорожена, просто глубокая яма с перекинутой с краю на край прогибающейся доской. Днем доска была скользкая от натасканной на нее подошвами глины. По ночам она обледеневала. И несколько человек, среди них — женщина, которую... с которой я успел подружиться, упали в яму...

— Ее не спасли? — спросила Нора одним шевелением губ. И осторожно вытянула из-за его ворота пальцы.

— Нет, — сказал он. — Это случилось ночью.

Напротив, над дверью палаты смертников, зажегся красный сигнал. Вызывали сестру. Но та, по-видимому, уснула.

— Боже мой! Надо ее разбудить! — сказала Нора и поспешно сползла с подоконника.

— Сейчас. Ты иди к себе. Иди, уходи, я сам...

— Нет-нет, ни за что! Вместе! — вскричала она.

Но Галя уже промчалась в палату. Кто-то там в темноте говорил:

— Взгляните... Кажется... С Любовью Михайловной что-то случилось...

В палате зажегся свет. Из тьмы коридора дверь показалась Норе жерлом огромной печи. Замелькало, свиваясь и вскидываясь, белое пламя халатов.

— Иди, уходи, — почти толкая ее в спину, бормотал Аурелиу. — Не надо тебе это видеть!

— Надо, — сказала Нора.

И они стояли, вцепившись друг в друга, пока нянька не притащила с лестницы белую ширму и не отгородила Любовь Михайловну от мира живых.

— Отмучилась, — привычно сказала нянька. Зевнула, перекрестила открытый рот.

КЛАДОВАЯ ПАМЯТИ

Нора, не находя себе места, так и сяк поворачивалась, пристраивая ноющий правый бок, плечо, словно бы перетруженную, наполненную унылой тяжестью руку. Сердце то колотилось неистово, то замирало, глаза наполнялись слезами. О чем она тосковала? О незнакомой ли ей Любви Михайловне, о ее незаметной, будничной смерти в больнице, о странной ли женщине Кате, о новом ли друге своем, с его удивительной, словно бы предначертанной свыше и уже уходящей жизнью, о самой ли себе?..

Она не обманывалась насчет того чувства, какое питает к ней Аурелиу. Он жалеет ее, вот и все. С его стороны это случай "мышкинский", "Достоевский"... Над нею же странную власть имели слова: сказала сегодня "любимый" — и полюбила. Полюбила юродивого, может быть, — сумасшедшего. "Вам ведь это и нужно", — сказал он. Но она тосковала.

Ночь еле-еле ползла — как в первые дни войны эшелоны, до отказа набитые мирными, перепуганными людьми. Сначала тянулась она густо-синяя, душная. Потом посерела, похолодала, но оставалась такой же томительно медленной.

Нора встала, выглянула в окно. Двери морга были открыты. Туда, по-видимому, недавно внесли новопреставленную Любовь. Солнце уже заливало весь двор. Асфальт был чисто подметен и отсвечивал розовым. Кое-где вдоль трещинок, под скамьей, в углублении у люка, в сточных канавках лежал тополиный пух. Прислоненные к стене морга стояли пустые носилки. В палате все спали. Нора снова легла.

И вспомнилось ей, как во время войны, еще в Омске, зашли они вместе с Ильей к их знакомому, завлиту Омского театра, Савельеву, а тот с порога им объявил, что торопится на вокзал. "Куда это вы собрались?" — поинтересовался Илья. "К дочери, на недельку". (Савельев с женой разошелся, и его семилетняя дочь жила с матерью в Барнауле.) "Мы проводим вас", — предложил Илья. "Спасибо, зачем же вам беспокоиться? Мороз на дворе, да и поздно", — пожал плечами Савельев. "Ну, хоть до трамвая", — выторговал Илья. Как коршун, ринулся он к чемодану, но маленький, верткий Савельев опередил его, и между ними завязалась борьба. Каждый стремился перещеголять другого в великодушии. "Что вы, с какой стати?" — кричал Савельев, хватаясь за ручку. Илья, оттесняя хозяина, возражал: "Но я же гораздо сильнее, позвольте..." — и так они очень долго и глупо топтались у чемодана, пока Илья, изловчившись, не подцепил и не поднял его. "Ого! — тотчас воскликнул он. — Камни, что ли, везете?" — "Крупу", — угрюмо буркнул Савельев и почти вырвал у Ильи чемодан.

Все трое дошли они до остановки трамвая и около получаса, пристукивая от мороза ногами, взад и вперед прогуливались по занесенной снегом платформе. Савельев увлеченно рассказывал о новом спектакле Охлопкова (то был блистательный "Сирано", поставленный в Омске эвакуированным Вахтанговским театром), потом подошел трамвай, Савельев влез на подножку и укатил под истошное дребезжанье звонка...

А они зашагали домой по сухо скрипящему снегу, Илья что-то бодро насвистывал и вдруг деловито сказал: "Надо бы посмотреть "Сирано". Он в этом деле кумекает".

Больше Савельева Нора не видела. Вскоре пронесся слух, что он арестован.

"Как ты думаешь, что там было у него в чемодане?" — спросила Нора Илью, когда они обсуждали этот арест, наделавший в городе много шума. "Книги, наверно. Рукописи, — ответил Илья. — Чуюла кошка, чье мясо съела! Видать, заметал следы". — "Да в чем же он виноват?" — хотела она спросить, но в то же мгновение вспомнила, как Савельев однажды сказал ей: "Сталин не только страну, а саму идею погубит опричниной". И потому, что мысль Савельева выглядела в ту пору невероятно крамольной, она умолчала о ней, скрыла даже от мужа, и теперь поймала себя на том, что рада этому: Бог уберет!.. Но, вместе с тем, ужаснула ее эта радость. Что же, она считает Илью способным на него донести?

Нора не стала тогда продолжать разговор, инстинктивно отпрянув от края разверзшейся пропасти, а вскоре и вовсе забыла о нем, забыла о маленьком, умном, жилистом человеке, который в тот вечер отчалил от них на трамвайной подножке и безвозвратно исчез.

И еще многое вспомнилось Норе — например, рассказы Ильи про лагерь, как его назначили бригадиром и как вся эта жалкая, по его выражению, "шушера", московская, ленинградская "красная профессура" только и требовала, и вымаливала разных поблажек, ничем не отличаясь от мелких карманных воришек, от "сявок", от "огоньков", вечно нывших: "Бригадирчик, живот схватило", "Пайку слямзили,

бригадирчик", "Смотри, бригадирчик, небось, и тебя дожидается мама на воле!"

И рассказывал он, как однажды на командировке Лунь-Вошь разгружали они баржу и как доходяги-доценты, отпихиваясь локтями от "сявок" и друг от друга, кинулись вверх по сходням каждый за своим барахлом, а Илья, который наблюдал за разгрузкой, с наслаждением, ногою под зад, поскидал этих жлобов в реку, штук пять, наверное, поскидал, чтоб знали, помнили, сволочи, в каком живут государстве!

"Ты их утопил?" — спросила она, чувствуя, как мурашки забегали у нее по спине. "Ну вот, утопил! — засмеялся Илья. — Побарахтались в холодной воде да и вылезли". — "Но как ты мог? Ты шутишь, конечно... Ногой... Я не верю!" — "Напрасно! Именно так я и сделал. Пойми, глупышка, это же фраера. За личными шмотками побежали! Каждый свое волок, с-суки такие. Тыфу, мерзость!" — и он передернулся.

Нора во все глаза смотрела на мужа и думала: "Я, возможно, чего-то не понимаю. Там, возможно, свои законы, свои представления о морали... Как я смею судить? Он столько выстрадал, пережил". И заставила себя позабыть. И забыла. Похоронила и это воспоминание. Как все остальное. Говорят: кладовая памяти. Не кладовая, а кладбище. Бескрайнее, безмолвное кладбище. Кресты, кресты...

И еще кое-что в том же роде она о нем вспомнила, но вдруг отчетливо поняла, что это позор ее собственной жизни. Пусть не она это делала! Но — принимала. Прощала. Предавала земле.

Говорят, человек — это стиль. Но была ли она вольна в своем поведении? Люди жили словно в каком-то мóроке, в гипнотическом полусне. Прытко, моторно двигались, с энтузиазмом работали, из последних сил напрягались, шумели, гремели — вроде тех детских ярких волчков, запускаемых многократным нажимом на шляпку. И некогда было остановиться, подумать, вспомнить... Растряссти, пробудить от спячки ту крохотную частичку неизвестно чего — сердца ли, мозга, — где прячется совесть. Совесть, которая в прошлом, в детстве мерила и судила каждый поступок. От которой

зависело поведение. Значит — стиль. А значит, и весь человек.

Как им удалось одурманить совесть миллионов?

В палате начали просыпаться. Роза вышла, Томка тихо стонала, Берта потянулась за яблоком. Солнце, пройдя сквозь графин, победно ударило в стену сверкающей радугой. Нора не двигалась. Она сочиняла рассказ.

ДЕВОЧКА, СОБАКА И УТКА

В комнате было полутемно, наступил предвечерний час, когда все делается пепельным. Соня едва различала буквы. Она лежала ничком на тахте, опираясь на локти и вцепившись руками в волосы. Жана Вольжана уже схватили и приволокли в дом епископа. "Очень рад вас видеть, — сказал Бьенвеню, — но послушайте, что же вы? Ведь я вам отдал и подсвечники!" Жан Вальжан распахнул глаза. "Друг мой, — сказал епископ. — Не забудьте перед уходом захватить ваши подсвечники".

Соня резко перевернулась на спину. Под затылком у нее оказалась раскрытая книга.

— О-о-о, — застонала Соня.

Она до этого дня успела прочесть массу книг. Среди них были и такие, от которых она плакала. Например, "Давид Копперфильд" или "Хижина дяди Тома". Ей было жаль Копперфильда, жаль старого негра, и она сокрушалась над их судьбой. А здесь вроде все устраивалось как нельзя лучше, но горло ее было стянуто спазмой... Почему это так, она понять не могла. Просто знала, что в нее что-то вошло, заполнило душу и осталось там. Что-то такое, от чего почти невозможно отделаться. Разве только выколотить. "Друг мой, — сказал епископ. — Не забудьте ваши подсвечники".

Летом мама увезла Соню в Анапу. Они снимали комнату в белом мазаном домике. В Анапе было много моря и много солнца. Утром было море с медузами, которых во время прилива в несметном количестве пригоняло к берегу, и, чтобы войти в воду, приходилось проскакивать через бело-розовый,

колышущийся, жгучий студень. После обеда был мертвый час в завешенной мокрыми простынями комнате и сороконожками на стенах. Вот и сейчас пробегала, шурша, по стене коричневая, нежно-скорлупчатая, будто составленная из тесно насаженных бисерин сороконожка.

Мама спала, и Соня, тихонько натянув трусики, вышла во двор. На нее набросилось солнце. Оно было косматое, яростное и тяжелое, как медведь. Солнце вгрызалось в плечи, в лопатки, выедало глаза. Соня медленно двинулась к маленькому строеньицу в углу двора. Она знала, что там ее ожидает ужас, но именно он, этот ужас, ее и притягивал. На тончайшей светящейся нитке висел огромный белый паук с крестом на спине и с шерстяными ногами. Паук пошевеливал ими и каждую минуту готов был сорваться. Прямо ей на голову! Но Соня так пристально и сердито смотрела на паука, что он стал карабкаться вверх. "Ага? — торжествующе сказала она. — Испугался?"

В Анапе у нее был друг — собака Волчок. Это была веселая дворняга с закрученным пушистым хвостом. Соня любила ее. Дома, в Ленинграде, у них был кот, по имени Тимофей, загадочное, коварное существо, преисполненное нахальства и спеси. Он точил когти о сафьяновое кресло отца, и вся спинка его превратилась в висащие, точно лапша, узкие длинные ленты. А еще, когда жарились на керосинке котлеты, Тимофей вскакивал на стол, садился рядом, хищно дрожал ноздрями. Улучив момент, он подцеплял котлеты когтями, швырял на пол и, поочередно подталкивая их лапами, загонял под шкаф, чтобы съесть, когда они остынут. По вечерам он свертывался клубком на тахте. Фосфоресцирующие глаза его казались в темноте дырками в ад.

Волчок был доверчив, изящно резв, простодушен, игрив, жрал, что давали, вилял хвостом. Соня любила, усевшись на поленницу, притянуть собаку к себе, глядеть в ее ясные моргающие глаза и почесывать за ухом. Голова Волчка лежала у нее на коленях. Тогда наступал покой и забывались медузы, сороконожки и пауки.

— Ах ты, пес, — приговаривала она. — Ах ты, мой песик!

Она умоляла маму взять его с собой в Ленинград, мама колебалась, но Соня еще надеялась, что сумеет ее упросить.

Сейчас Волчка во дворе не было. Соня села на поленницу и свистнула. Ей хотелось научиться свистеть в два пальца, как Митька у них во дворе в Ленинграде, но у нее получился шип. Она приноравливалась и так и этак, однако, дивной, переливчатой Митькиной трели не выходило. Вдруг в калитку вполз Волчок. Он именно вполз, на брюхе, с виноватой мордой, хвост в пыли.

— Что с тобой? — спросила Соня. — Тебя побили?

Волчок тявкнул и понуро побрел к ней, мотая опущенным хвостом.

— Ты что-то нашкодил, а, Волчок? — допытывалась Соня, лаская собаку.

Волчок лизнул ей руку.

— Ну, ничего, — сказала Соня. — Ничего, мой хороший. Ах ты, псина.

Калитка скрипнула и во двор вошел сосед с ружьем.

— Где эта сволочь? — спросил он. — Где эта тварь?

— Вы про кого? — отозвалась Соня.

— А-а, ты здесь? Проклятая собака! Повадилась грядки мои разрывать, скотина. Ну, погоди! — и он вскинул ружье.

Соня продолжала чесать Волчка за ухом.

— Вы чего? — спросила она мужчину, который стоял в трех шагах от нее, высокий, толстый, в голубой майке и галифе. Голые руки, державшие ружье, были белые, дряблые, и там, где положено быть мускулам, гадко свисал жир.

— Вы чего, дядя? — уже в тревоге спросила Соня и вскочила.

Волчок заскулил, ползая на брюхе.

— А ну, отойди, девочка. Кыш отсюда, по-быстрому! — сказал мужчина, прицеливаясь.

— Не-ет! — крикнула Соня! — Не-е-ет!

Тогда он широко прошагал к ней, схватил за плечо, крутанул в сторону и в упор выстрелил в лежащего у его ног Волчка.

Волчок задергался, повернулся на спину, сквозь редкую на брюхе шерсть розовела кожа, ноги быстро заперебирали по

воздуху, будто собака мчалась в опрокинутом вверх тормашками мире. Ружье, опущенное дулом к земле, еще дымилось. Волчок, наконец, затих и, словно куда-то добежав, спокойно лег на бок. Под головой у него растекалась, пузырясь в песке, кровь. Мужчина небрежно ткнул собаку белесым носком сапога и пошел к калитке. Соня молча смотрела ему вслед.

— Что вы сделали? — тихо сказала она жирной спине с черным паучьим крестом, прячущимся под голубой майкой. — Нет, что вы сделали, дядя?

Мужчина обернулся.

— А что такого? — сказал он. — Делов-то. Шелудивая тварь, ничья, бегаёт тут, понимаешь, грядки портит.

Все стало черно перед глазами у Сони, жизнь ушла из нее, осталась одна смерть, и с этой смертью в себе она рванулась на гигантски разросшуюся, смутно колеблющуюся перед ней массу. Соня почти не различала ее границ, только что-то зыбкое, студенистое очутилось у нее под руками. Она заколошматила что было силы по вываливающемуся из галифе животу, изворачиваясь с откуда-то взявшейся в ней пантерьей ловкостью, когда ее пытались схватить и наскакивала снова и снова.

— Соня!!! — отчаянно крикнула у нее за спиной мама. — Ты с ума сошла!

— Ой, мама, мама! — затопотала она на месте. — Он убил... убил Волчка!

— И-эх, гнида, — выругался мужчина и пошел со двора.

После убийства Кирова их семью выслали из Ленинграда, и голосистый соловей Митька, говорящие камни на Марсовом Поле, белеющие в зелени статуи Летнего сада, дедушкины фонари и решетки Троицкого моста сменились для Сони деревянной Каловкой под Уфой. Подобно всем девочкам ее лет, Соня мечтала о карьере артистки и поэтому носила себя, как драгоценный сосуд, изъяснялась забавно и велеречиво. "Жить в Каловке! — с сарказмом говорила она. — Ну что за насмешка судьбы!"

Но и в Каловке, как ни странно, нашлось, с кем дружить и чем жить. Там был худенький мальчик Аркадий, башкирская

девочка, весело и беспечно распеваящая под окном: "Я болею бир-кулезом, бир-кулезом, бир-кулезом!", и росли тюльпаны на холмах, называемых бараными лбами, там были мшистые, сизые валуны, оставшиеся от Ледникового периода, и речка Уфимка, приток Белой, по которой сплавляли плоты...

Но потом папа добился, чтобы ему разрешили перебраться в Вязьму, на строительство шоссе Москва-Минск, где он мог работать по специальности. А Соне пришлось расстаться с Аркадием, тюльпанами и валунами.

Вязьма поначалу привела ее в ужас — эта провинциальная дыра казалась Соне страшной даже Каловки, в которой хоть можно было себя чувствовать трагически несчастной. И прошло много времени, пока она полюбила Соборную горку, пряничные ставенки на деревянных домах и надменную девочку Сабину, свою соседку по парте. Она привыкла к Вязьме, лишь когда удалось хотя бы отчасти заглушить в себе детские шиллеровские мечты. Вся эта никчемная шиллеровщина должна была густо зарости крапивой и лопухами, и постепенно она зарастала.

Соня по-прежнему много читала и уже знала старинное выражение "разбитое сердце". Сердце у нее было разбито. Она считала отца лучшим из людей, видела, что он оскорблен, что его оскорбили, но ненавидеть бесплотную силу, сотворившую с ним зло, она не могла. Потому что эта бесплотная сила была всюду — как воздух. Нельзя ненавидеть воздух, которым дышишь. На ее разбитом сердце полыхал пионерский галстук, в ушах с утра до вечера играл зорю серебряный горн. Только галстук и горн помогали ей избавляться от мыслей о непонятности мира. А чтобы не разорваться надвое при выборе между отцом и воздухом, которым она дышала, Соня попросту научилась одной хитрой штуке: когда надо, переключать свет. Идешь из комнаты в комнату — гасишь свет в первой и зажигаешь в другой.

Однажды она возвращалась из школы с двумя подружками, было уже поздно — учились они во вторую смену, — и

центральная площадь Вязьмы была еле освещена. Неожиданно перед ними возник прохожий, одетый в рваную брезентовую робу.

— Скажите, девочки, — спросил человек, — как отсюда попасть на вокзал?

Во рту у него блеснул золотой зуб. Это было странно, и вопрос его был странен. Они были рядом с конечной остановкой единственного в городе автобуса, курсирующего между центральной площадью и вокзалом. Местный житель наверняка это знал, а приезжий не мог, минуя автобусное сообщение, оказаться в центре.

— Да вот же кольцо, — ответили ему.

— Благодарю вас, — поклонился оборванец и, отойдя к фонарю, взглянул на ручные часы.

В те годы часы были редкостью.

— Шпион! — объявила Соня. — Факт, девочки, это иностранный шпион!

Когда они подошли к углу, то увидели незнакомца в ярко освещенном автобусе, ожидающем пассажиров. Девочки долго рассматривали лицо шпиона. Оно было чисто выбритое, изможденное, очень интеллигентное.

Посоветовавшись, они решили сообщить о подозрительном человеке куда следует. Здание, где размещалось "куда следует", было самым большим в городе — больше театра, больше школы, больше больницы, больше даже горкома — и находилось недалеко. Подождав, пока тронется автобус, они кинулись со всех ног вверх по улице Ленина. Они задыхались. У Сони першило в горле, было сухо и жарко в груди, страшно стучал мотор ее разбитого сердца.

Начальник, к которому после долгих упрасиваний пропустили самую бойкую из девочек — Соню, спросил:

— А ты сможешь его опознать?

— Смогу, — сказала она.

Тогда, посадив ее и двух конвойных в машину, начальник покатыл на вокзал.

— Войди первая и взгляни, там ли он, — приказал Соне начальник.

Она оттянула упругую, с тяжелым противовесом дверь и тотчас увидела своего незнакомца, сидящего на самом виду в полупустом помещении. Что-то сиротливое, беззащитное почудилось Соне в его тшедушной фигурке. И едва она пожала свою жертву, привычно щелкнул выключатель, свет переместился из комнаты в комнату... "Друг мой, — сказал епископ, — не забудьте ваши подсвечники!"

Соня попятилась. Но в приоткрытых дверях, как судьба, как возмездие, стоял начальник. Отступать было некуда. — Вот он, — обреченно прошептала она.

Соня трусливо притаилась в темном, заплеванном, пахнущем мочой тамбуре, когда в сопровождении двух конвойных его провели к машине. Ей захотелось умереть, тут же, сию минуту, в этой моче, в плевках, в темноте. Но она услышала голос начальника: "Где же девчонка?" — и вышла наружу.

— Есть на автобус деньги? — заботливо спросил он.

У него было благородное лицо героя из фильма "Граница на замке". И он так благородно вспомнил о ней, хотя был занят государственным делом!.. Ах, какое счастье было сразу, с налету, с разбегу полюбить его благородный железный подбородок, его шарикоподшипниковые желваки! В этой любви было спасенье от боли, от жалости, от стыда, и Соня быстро и радостно переключила свет.

— Ни копейки! — с лихостью истинной пионерки отвечала она.

— На, возьми, — сунул ей мелочь начальник. — И спасибо тебе.

Отец схватился за голову, когда Соня с гордостью рассказала дома за чаем о своем подвиге.

— Боже мой, Бож-же мой, — бормотал он. — Кого я вырастил?

И закричал не на Соню, а куда-то в пространство:

— Ты мне не дочь!

Соня долго рыдала в постели, под одеялом. И в глазах ее изнурительно, беспрерывно мигал свет.

Они жили в доме для инженерно-технических работников управления, там была коридорная система, общая кухня и

общая большая уборная с цементным, всегда отвратительно мокрым полом. По ней шныряли остромордые, продолговатые крысы.

Мыть коридор, кухню, чистить уборную каждое утро привозили со строительства заключенного Ваню. Это был пухлый, бритый наголо парень, с пухлым, тестообразным лицом и глубоко посаженными, будто вдавленными в тесто глазами-изюминками. Он снимал ватник, шапку, ботинки и работал в исподней рубаше навыпуск и босиком. Страшно было смотреть, как он ступал своими большущими, серыми, точно картофельные оладьи, ногами по мокрому цементному полу. Грязь прохлюпывала у него между пальцами.

Соня придумала ему биографию: так, по ее представлениям, должен был выглядеть сын кулака, деревенского кровососа и обиралы. Но выспрашивать Ваню она стеснялась. Иногда она все же с ним заговаривала, он отвечал подобострастно, улыбочиво, а она не могла оторвать взгляда от его пухлых, разлапистых, грязных ступней.

— Вы не боитесь крыс? — с содроганьем спрашивала она.

— Вона, а чего их бояться... Не-е, крыс не боюсь.

— А чего-нибудь, вообще, боитесь? — добивалась она зачем-то.

— Вообще? — призадумывался Ваня, опершись на мочальную швабру, похожую на скопище змей. — Вообще-то, боюсь, девка.

— Людей?

— Людей не-е.

— А чего же тогда?

— А вообще и боюсь. Вообще, понимаешь?

О, да. Она это понимала. Она тоже боялась в о о б щ е е.

Как-то она вернулась домой поздно вечером после собрания. Ей было весело, она отличилась в ученье, ее похвалили. Напевая "Тор-реа-дор, смеле-е-е в бой!", Соня ворвалась в комнату. За столом сидели два незнакомых молодых человека в форме НКВД. Мама была взволнована.

— Кто это? — шепотом спросила у нее Соня.

— Не знаю. Ждут папу, — еле двигая губами, точно они у нее отморожены, ответила мама.

Ну, что ж. В этом не было ничего удивительного. Папа работал главным инженером проектного отдела, а строительство находилось в ведении НКВД. Многие папины сослуживцы щеголяли в форме. И даже имели право на личное оружие. Но папа никогда не ходил в форме и не брал с собой на работу оружия, хотя дорогу строили заключенные и от них можно было ожидать всего. Однажды Соня, уязвленная тем, что ее отец, в отличие от других инженеров, носит штатское, спросила, почему он не берет с собой пистолет.

— А ты не находишь, — сказал папа, — что это низко — быть вооруженным против безоружных людей?

Соня подошла к гостям, поздоровалась, села рядом. У обоих были славные лица: одно — горбоносое, с иссиня-черными бровями, белозубое, смуглое, другое — простецкое, русопятое, с румянцем на круглых щеках. Соня разговорилась с ними и с ходу похвасталась, что, хотя ей только двенадцать лет, но учится она в седьмом классе, отличница и к тому же — неплохо рисует.

С чего ее вдруг понесло, Соня не знала. Но она кокетничала с ними напропалую, встряхивала кудряшками и, как ей казалось, умно и тонко проявляла свою начитанность. А потом еще полезла в портфель и вытащила тетрадку по зоологии, чтобы они посмотрели ее замечательные рисунки.

— Маладец, художницей будешь! — сказал горбоносый, когда она развернула тетрадь, где была нарисована и раскрашена цветными карандашами хохлатая утка. Хохолок вышел очень нарядный, вроде маленькой царской короны, а глаз утки, круглый, красный, как клюква, злобный, буравил прямо насквозь, и гости рассыпались в похвалах.

— Вай, вай, какой глаз палучился, савсем живой! — цокал языком горбоносый.

Мама стояла бледная, с искаженным лицом.

И тут вошел папа. Горбоносый горец и румяный парнишка с окраины в ту же секунду вскочили, оба, как заведенные куклы, наставили на него пистолеты и рывкнули:

— Р-руки вверх!

А отец, ее гордый, храбрый отец, стоя у двери в пальто, старомодном, потертом, с бархатным черным воротничком, поднял руки.

Молодые люди подбежали, грубо обшлепали его тело, обшарили карманы и, убедившись, что оружия при нем нет, спрятали пистолеты в кобуры.

— Собирайтесь, Модест Иванович, вы арестованы, — уже по-доброму, по-домашнему сказал русопятый. — Собирайтесь спокойно, мы подождем.

На стройке все звали отца по имени-отчеству. Его любили. Быть может, любили и эти двое.

Мама, после высылки привыкшая к передрягам, держалась с большим достоинством.

— Модест, — сказала она, — возьми шерстяные носки.

Один из гостей, тот, что посимпатичнее, с теперь уже совершенно малиновыми щеками, сказал ей:

— Не надо, он скоро вернется, это, поди-ка, ошибка...

И папа ушел без носков.

То был первый арест в городе, и никто — ни папа, ни мама, ни эти несчастные, возможно, тоже погибшие насильственной смертью молодые ребята, еще не знали тогда, что начался тридцать седьмой год.

Отца увели, а дочь его, Соня, осталась жить. Но куда делась девочка, умевшая грозить паукам, молотившая кулаками по дряблему, студенистому животу убийцы? Почему в иные минуты вдруг глохнут, утопают в вате голоса добрых книг, прочитанных в детстве? Почему мы так часто переключаем свет? Чтобы легче было существовать? Но ведь жизнь от этого не становится легче. Нет, не становится.

ПОЗДНО

Она лихорадочно, с перерывами лишь для еды, строчила этот рассказ, выхватывая из тумбочки листы газетного срыва, предусмотрительно взятого ею из дома для писания записок Илье.

Женщины удивлялись: "Что это Нора пишет?" Задавали вопросы, подходили, заглядывали — Нора только отмахивалась от них, как от назойливых мух. Писалось легко, она и сама не знала, откуда все это берется, словно бы выливается на бумагу из авторучки вместе с чернильной пастой. Откуда, к примеру, взялся хотя бы Ваня с его расшлепанными, как картофельные оладьи, ступнями? Ни разу прежде она не вспоминала о нем. А вот явился — точно разворошил свою могилку, и вылез, и стоял теперь перед ней, как живой.

Чуть-чуть застопорилась лишь сцена с хохлатой уткой. Композиция требовала поставить ее в конец, но эпизод с человеком в брезентовой робе весил гораздо больше, звучал сильнее, и рассказ как будто начал куда-то сползать. Никак не удавалось ей передать свое подлое поведение с теми двумя молодчиками — горбоносым и русопятым, как она перед ними кривлялась, даже заигрывала, как они неумеренно хвалили ее и как при этом страдала ее интеллигентная мама. И самый кончик рассказа, со слов "отца увели...", то казался ей лишним и назидательным, то совершенно необходимым, и она то жирно вычеркивала его, то заново восстанавливала. Отложить же работу на завтра она не хотела, — нет, вот как написалось, так пусть и будет: главное, надо сегодня, сейчас отдать рассказ Аурелиу, ради него одного она и спешила.

Закончив, Нора свернула листки в трубку и спустилась во двор — искать Аурелиу. Его нигде не было. Ей встретилась Катя, которая, как это часто бывает после нечаянных откровенностей между чужими людьми, держалась скованно, сухо и тут же ушла, сказав, что она "не сторож брату своему" и понятия не имеет, где прячется этот чудак.

Нора нашла его в самом конце аллеи. Он сидел на скамье и, скорчившись над блокнотом, тоже что-то писал. Услышав ее шаги, он поднял голову, улыбнулся.

— Куда вы исчезли? Садитесь... А я вас все утро жду, жду. Даже вот начал письмо вам писать. Чтобы вас не мучило, родная моя, то слово... Ну то, которое невзначай у вас вчера вырвалось. Это бывает. Оно было искреннее, я знаю. Но вы не должны...

— Какое слово? — сурово спросила Нора. — Любимый? Он смущенно кивнул.

— Так я могу его повторить: лю-би-мый, — отдельно произнесла Нора, грозно нахмурившись. — И почему ты опять говоришь мне “вы”? Что за фокусы, Аурелиу?

Он засмеялся.

— Ну, хорошо, — сказал он.

Вырвал листок из блокнота и смял его.

— Я знаю, что ты сейчас подумал, — все так же сердясь, сказала она. — Раз, мол, ее это тешит, пускай. Ты ведь это подумал, да? И ты покорился. А я тебя правда люблю, Аурелиу. Ты для меня самый лучший. И самый главный. Я буду тебе служить. Я для этого создана, понимаешь? Чтобы служить.

Нора очень сердилась и не смотрела на Аурелиу. И он не смотрел на нее. Он потупился и молчал.

— Не бойся меня, — сказала она. — Ты ничего не обязан. И если тебе неприятно, я никогда, ни полслова... Но ты должен знать.

Она на него взглянула и, так как он ковырял носком сандалии землю (откуда он только выкопал их — эти сандалии с дырочками, на ремешке с металлической пряжкой!), добавила мягко:

— Прямо, как маленький: тетя погладила по головке, а ребенок краснеет, томится... Ну что ты томишься?

— Я не томлюсь, — сказал Аурелиу. — Я счастлив. Я слишком счастлив.

— Слишком?! Так не бывает.

— Бывает, — ответил он. — Когда уже поздно. Поздно, девочка, поздно... Поздно, моя родная. Поздно! — его как заклинило на этом слове.

Было время вечернего чая, аллея была пустынна, и Нора, бросив быстрый взгляд назад, за плечо, обняла Аурелиу и поцеловала куда-то в шею. Он тоже обнял ее, и опять, как в тот раз, когда он взял ее под руку, она поразила его повелительной и вроде не согласуемой с хилым телосложением, какой-то очень надежной силой. Объятие их было неловким,

поспешным, ей стало больно, казалось даже, что расходится шов, однако, она не смела сказать и терпела.

— Поздно, радость моя, — твердил Аурелиу. — Поздно, девочка, поздно...

Вот этого она не имела сил слышать и высвободилась.

— Скажи, Аурелиу... Почему я не вижу, чтобы тебя навещали? Ты что, не женат?

— Был, — кивнул он. — Был, как все люди. Когда меня выпустили из лагеря (они все же установили, что я дезертировал), я пошел босиком в Кишинев. И устроился на работу. И нашел хорошую девушку. И женился. И был у нас сын. Все было, Нора. Не на что жаловаться. Много я видел хорошего. Незаслуженно много. И — хватит! — он улыбнулся.

— Как это хватит? — воскликнула Нора. — А где же твой сын, где жена?

— В Кишиневе.

— Ты бросил их?

— Нет, я не бросил. Так получилось... Ну, Боже мой... Я начал болеть...

— И что?

— Ах, не спрашивай, Нора! Я тоже не сахар. Я стал ужасно придирчив. Я сам это чувствовал.

— И она...

— Нет, нет! Ты не думай... Мы вместе решили. Мы просто решили немного пожить отдельно. И я уехал. Устроился в Александрове, под Москвой. Снял комнату, очень миленькую, с голландской печью, работал в библиотеке... Ну что ты смотришь? Мне там чудесно жилось. Под окном росла яблонька. Я ходил гулять к монастырской стене. Я даже завел черепаху... Ах, Нора, ну что ты так смотришь? Очень забавная черепаха!

У нее в глазах были слезы.

— Аурелиу, — сказала она. — Я написала рассказ.

— Тот самый?

— Да. Ты разберешь мой почерк?

— Конечно. Как я рад за тебя! Видишь, я оказался прав.

Он взял листки, разгладил их на колене, прочел первые строчки.

— Ну, вот. Меня ожидает хороший вечер. Ты уйдешь к себе и все-таки будешь со мной... А ты говоришь...

— Что я говорю?

— Будто я несчастен... Нора! — Аурелиу крепко схватил ее руку. — Посмотри вокруг. Да, да, хотя бы на эти деревья, на эту больницу. Ты скажешь: больница раковая, деревья покрыты пылью. А как они славно шумят, как плаваются окна на солнце... Ведь это же чудо! И то, что мы встретились здесь... Могла ли ты это предвидеть? А рассказ? И сколько таких рассказов в тебе? Еще, может быть, лучших...

— Ты хочешь, чтобы я жила, Аурелиу? — грустно сказала она.

— Ты будешь жить, будешь! — страстно ответил он. — Я хочу, чтобы ты была счастлива. Это возможно. Несмотря ни на что. Только надо этому научиться. И ты научишься. Я тебе помогу. Это возможно, поверь!

ТАМ, ГДЕ ПЛАЧУТ И ПОЮТ

Ей не пришлось назавтра обдумывать, как начать разговор с Еленой Ароновной. Та сама вызвала ее на перевязку и сказала:

— Ну, что. Заживление идет превосходно. У сухощавых всегда так. А с полными — не оберешься хлопот... Смотрите, как я вам все тут красиво сделала, — и она провела ладонью по безобразно отекавшему, красному операционному полю, пересеченному длинным, уходящим под мышку поперечным разрезом, с грубыми косыми стежками, в которых запеклась черная кровь. — Прямо-таки косметическая работа, — откровенно гордилась она. Лицо ее, обычно холодное и даже надменно замкнутое, сейчас сияло внутренним жаром. — Послезавтра снимаем швы и начинаем рентген, — добавила она уже деловитым тоном.

— А если я откажусь? — на всякий случай спросила Нора.

Елена Ароновна посмотрела на нее с величайшим презрением, и странная скобка ее улыбки, как на античной маске, перевернулась углами вниз.

— Вы не откажетесь, уважаемая, — сказала она. — Об этом не может быть речи. Наслушались тут разных глупостей... Не ожидала.

— И гипофиз будете облучать?

— И гипофиз. И весь нижний этаж. Это необходимо... Вот что, голубушка. Я с вами не собираюсь играть в кошки-мышки. Я...

— О, пожалуйста! — живо воскликнула Нора. — Прошу вас.

— Ну, слушайте. Накиньте халат, вот так. Вы будете делать все, что я вам назначу. Вы поняли? Все! — она говорила жестко, опущенные уголки ее губ слегка вздрагивали, когда она делала паузу. Только это и выдавало ее волнение. — У вас рак, — продолжала она, глядя на Нору тяжелыми своими глазами. — Опухоль была в третьей стадии. Четвертая, чтоб вы знали, неоперабельна. У вас уже были метастазы в соединительной ткани. Я так и предполагала, а потом увидела воочию, во всей их красе. Неприглядная, доложу вам, картина... Я все очень чистенько вырезала. Но кто знает? Рак — болезнь коварная. Другой бы я этого не рассказывала. Вас я считаю человеком разумным. Канцерофобией вы, как мне кажется, не страдаете, — тут ее скобка перевернулась углами вверх. — Единственное ваше спасение в том, что у вас спокойные железы. Ближайшие я удалила — подмышечную, подключичную. Остальные не увеличены. Пока! — она подняла палец — длинный, костистый, с коротко остриженным ногтем. — Повторяю — пока. Но достаточно одной раковой клетке попасть в лимфу, и болезнь разнесет по всему телу. Нужен массированный удар. Решительный. Без промедления. Рентген, мужские гормоны. Иначе не проживете и года. Вам ясно? Все.

Нора молчала. С минуту они сидели и смотрели друг другу в глаза. Как в игре в "гляделки". Кто кого пересмотрит.

— И пропала моя работа! — вдруг совсем по-женски, с обидой сказала Елена Ароновна.

Нора не выдержала, засмеялась.

Вот так прошел разговор. Но Нора и без того решила уже, что будет лечиться. Чтобы служить Аурелиу, надо, как мини-

мум, быть живой. Что же касается счастья, им обещанного, то Нора в него не верила. И о рассказах, якобы в ней заключенных, пока не думалось. То, что Нора в горячке вчера накатала, было скорее письмом. Или исповедью. Сбросила с души этот груз, и ладно, и хорошо.

Против воли ошеломленная, но с непонятной и неуместной готовностью к смеху, Нора спустилась во двор. И странно, все, кто ей попадались навстречу, были тоже словно бы чем-то возбуждены. Казалось, они возвращались в корпус не с обычной прогулки, а не то из гостей, не то с демонстрации. Но главное — этих встречных, с хмельными жестами, хмельной походкой и речью, было раз-два и обчелся, зато ее обогнало несколько шумных веселых групп, явно куда-то спешащих.

Свернув на аллею, Нора услышала вдалеке, за кустами, гитарные переборы и пение. Здесь? В лепрозории? Кто-то поет и играет?

В самом деле, в кустах замелькали пижамные куртки, синие с красным халаты. И там, в центре плотного круга, хриплый, немного надрывный голос, следуя современной манере пения, проговаривал, временами снижаясь почти до шепота, удивительные слова:

Ах, как долго, долго едем,
Как трудна в горах дорога,
Чуть видны вдали хребты
 туманной Сьерры.

А, как тихо, тихо в мире,
Лишь порою из-под мула,
Прошумев, сорвется в бездну
 камень серый...

Раздвинув ветки и привстав на цыпочки, Нора увидела Катю. На маленькой, с пяточок, лужайке между кустами она стояла на одном колене, держа на другом гитару. Сгорбившись и низко склонив над ней голову, так что хвостик волос на ее затылке торчал кукурузным султаном, правой рукой резко ударяя по струнам, а левой — то зажимая их, то чуть потряхивая ручку гитары, чтобы сильнее вибрировал звук, Катя пела:

Ну, скорей, скорей, мой мул!
Я вижу, ты совсем заснул,
Ну поспешим, застанем дома
дорогую.

Ты напьешься из ручья,
А я мешок сорву с плеча
И потреплю тебя, и в морду
поцелую...

Не такой уж веселой была эта песня, но лица стоявших вокруг людей показались Норе счастливо разглаженными, будто сжимавшая их повседневная пленка заботы и страха наконец-то сдернута и отброшена прочь, как кожа царевны-лягушки.

Возле Норы стоял высокий старик с перевязанным горлом, между бинтами выглядывал металлический кончик дыхательной трубки, через которую он со свистом втягивал воздух, но бледные губы его улыбались. Томка, как гномик, сидела на корточках, подперев кулаками щеки, отчего они вздулись на скулах, стали круглыми, детскими, да и рот раскрылся совсем по-детски, восьмеркой. Незнакомая женщина плакала; но даже и слезы эти лились легко, без тоски, без натуги.

Катя кончила петь, подняла бедовое, в ярких веснушках лицо и спросила:

— Еще?

— Еще-е! — заорали все.

— Ладно, — сказала она. — Сейчас.

Покусывая губы, Катя примолкла, настраиваясь на новую песню. Что-то шаманское было в ее напряженной позе, во всем ее облике.

Мой дом,
В нем живет добрый дух,
В нем живет добрый дух,
Духов злых отгоняет...

Катя пела песню за песней — одна была про Пьеро ("Что ты смотришь так тупо, ах ты шляпа Пьеро?"), вторая — про фокусника ("А ночь над цирком такая, что ни зги"), третья — про пожарного ("Набат на башне каменно молчал"). Сказочные, далекие от больничного мира песни почему-то касались всех.

“Какой большой ветер напал на наш остров!” — ударила Катя по струнам, и все, и Нора почувствовали: да, напал ветер, и сдул с домов крыши, как с молока пену... А когда она затянула другое: “Верю надежде, даже как будто напрасной, даже напрасной и невозможной мечте”, — Норе и каждому здесь померещилось, что все-таки можно еще надеяться...

— Ну, последнюю, — сказала Катя. — На посошок!

И она запела про то, как неким весенним вечером, в некоем отдаленном от человеческого жилья краю, если не принимать во внимание одиноко стоящей, возможно, заброшенной фермы, некто разжег среди прерий костер и, глядя на пламя, мечтая, тщетно пытался вспомнить нечто давно забытое им, о чем ему говорил кипящий в огне котел. Но потом наступила ночь, погасли последние угли, и этот некто бесследно исчез.

Во время пения мимо ограды пронесся, звеня, трамвай. “У-у! — загудели больные, и несколько кулаков, вскинувшись в едином порыве, яростно погрозили в сторону улицы. — Давай сначала!”

“В тиши весенней, в тиши вечерней”, — снова запела Катя. А Нора, слушая, думала сразу о многом. И представилась ей картина на синем фоне, нет, густо-лиловом, — потому что ведь вечер, южная темная ночь, — и где-то внизу в уголке, слабенький язычок пламени, нет, даже не язычок, а розовая туманность, светящийся дым костра, и рядом фигура того человека, да нет, не фигура, а тень, тень одинокого, покинутого людьми существа, — быть может, отца ее, так же бесследно исчезнувшего, или же Аурелиу, который на миг возник в ее жизни, чтобы вскоре пропасть, раствориться в ночи... И думала Нора о Кате, любясь коленопреклоненной позой ее, — не то пажа, с этим забавным хвостиком на затылке, султаном, малярной кистью, напоминающей страусово перо, а не то провансальского трубадура, или, напротив, нашего блатняка — из-за лихой бесшабашности, с какой она дергала и щипала тугие струны, низко свесив над ними голову, демонстрируя полное безразличие к производимому впечатлению. И потом — этот голос, надрывный и хриплый, раздирающий

душу, каким она спела последний куплет: "И мы не знаем, ах, мы не знаем, был или не был он на земле, что в тихом сердце его творилось и что варилось в его котле..."

И Нора, и, как она видела, вся эта толпа страдальцев — кособоких, с отрезанной грудью женщин, мужчин со вставленной в горло дыхательной трубкой, — этих отверженных, прокаженных с гниющими внутренностями, этих т е н е й — не понимали уже, о ком написана песня: о дальнем ли, не известном им человеке, о самом ли близком, родном, или о них самих.

"Был! был!" — хотелось вскричать Норе. Но вместе — и не хотелось ей этого, потому что лучшее в песне заключалось именно в том, что тайна так и осталась тайной. И было не ясно, что же творилось в том тихом сердце. И что варилось в котле.

Катя встала.

— Ох, нога затекла, — сказала она. — Чья гитара? Возьмите.

БАБА НАДЯ ЗАГОВОРИЛА

Однажды Нора, придя в палату, застала в ней бабу Надю одну. Та ела творог, перекачивая его слева направо беззубыми деснами.

Нора села к себе на кровать и, помолчав, спросила:

— Баба Надя, а как вы пушку свою переносите? Тяжело?

— Так мил ты моя, — охотно откликнулась баба Надя. — Конечно. Пушка — она пушка и есть. Блюет с нее — страсти Господни! Через силу творог-то ем. Там, на пушке, Рахель работает, дохтур. Шибко понимающая эта Рахель! Сколько уж лет на одном деле. Перевидала нашей сестры... Терпи, говорит, баба Надя, терпи. Поправишься. Я и терплю.

— А давно вы болеете?

— И-и, мил ты моя! Пятый годок пошел, как болит в грудях. Думала, так себе. А оно — вон чего, рак. И откуда он, черт лупастый, берется? С нервов, толкуют... Что ж я тогда в войну не болела, а? Гладкая телка была! Никакой тебе

рак клешней не ухватит. Переживаний разных отбою, бывало, нет, а грудь не болели.

— Баба Надя, рак возникает не сразу. Иногда через десять лет!

— Ну, если так, то конечно. Тебе виднее. Как ты есть образованная. А я даром что малограмотный человек, образованных очень уважаю. Вот хоть внучка моя, Идочка. На пианине играет! Любо-дорого слушать. Я ей и пианино купила. Гляну в ноты — это что ж, говорю, за крючок? Бемоль, говорит баба Надя, бемоль. Ну, я и запомнила. А второй-то, который решеточкой, позабыла.

— Диез, — подсказала Нора.

— Вишь ты, — удивилась старуха. — Знает. Тоже на пианине учили?

— Учили, — кивнула Нора.

— Моя Идочка шибко способная! Пальчики то-оненькие...

— Что-то не видела ее здесь... Отдыхает, наверное?

— И-и, мил ты моя! Где же ей отдыхать? Не дают. Гоняют детей по колхозам! Как лето, так ездют. Нонче в Сибирь укатила, на целину.

— А чья она дочь? — спросила Нора. — Сына вашего?

— И-и... Нет у меня никого. Чужая она. Евреечка. Из Мариуполя. Город такой на Азовском море. Слыхала?

— Слыхала.

— Ну вот. Сестра у меня там живет. На заводе работает, этим, булгахтером. А завод "Азовсталь" называется. Большущий. Приехала я к сестре погостить, перед самой, как есть, войной. А дом у них от завода, на восемь семей, двухэтажный. Сестра моя в первом живет, хорошо, палисадничек под окном. А Идочка с мамой и папой — как раз наверху, над нами. Годик всего ей было. А черненькая, а красивенькая — просто картинка!

— Сколько же ей сейчас, баба Надя?

— Кому, Идочке-то? Да уж двадцать четвертый пошел.

— А говорите — детей.

— Что детей?

— Да детей гоняют.

— А кто ж она, как не дите? Ты б на нее посмотрела. Сама нежная, пальчики тоненькие...

— Ладно, — пряча улыбку, сказала Нора. — Это я так. Извините.

— Ну вот. И пришли в Мариуполь немцы. Папа ейный, Абрамом звали, утек ночью на хутора. Добрые люди приютили его, перепрятывали, пока русские не вернулись, а там он пошел в армию, и убили его, на чужой уже где-то земле, не то в Польше, не то... Врать не стану, запомнотвала. Маму, хохлушка была, кака-та паскуда выдала, что, мол, муж у нее еврей, немцы забрали и, кто их знает, может, убили, а может, угнали в Ерманию. Тоже сгинула, бедная, упокой, Господи, ее душу, — баба Надя перекрестилась. — А Идочку мы с сестрой подобрали, сиротку, и стала она у нас жить.

— Не боялись соседей?

— Как не боялись, мил ты моя. Конечно, боялись. Люди всякие есть. Да куда ж ее денешь? И то сказать — не дите, а звоночек!.. Уж такая складненькая, ножками топ-топ! Да ласковая — обоймет за шею и ну целовать! Малявочка ведь, а знает, что любим ее. Как есть, ангелочек... А потом к нам поставили фрица. Звали фрица этого — Курт. Спервоначалу-то мы обомлели. Мил ты моя, что ж с Идочкой будет? Сразу видать, не русское же дите. И глазки, и кудри — все, как у ихней нации, как положено. А мы тому Курту в одну душу: племянница, мол, ферштеешь? А он: ферштею, ферштею... Про него-то как раз и не скажешь, что немец. Кругломорденький, Ванька и Ванька. Шофер, начальника развозил.

— Что же он, поверил, выходит, про Идочку?

— Ты слушай. Смотрим, а он однажды мешок волокет — с картошкой. Вдругорядь — муки килограммов пяток. Подкармливал малость. Ну, правда, сестра варила ему. А к Идочке нашей: пупхен да пупхен, на колено посадит ее, в лошадки гуляет. Ничего такой фриц, вроде не больно занозистый, а все равно страшно.

— Еще бы. Я вас понимаю.

— Ты слушай. Таперича я про главное расскажу. Прибегает соседка, орет благим матом: облава! Прятайте Идочку — рас-

стреляют!.. А фриц как утром ушел, так и нету. Святый Боже, святой крепкий! Забегали мы с сестрой, заметались. Схватила она дите, выскочила на улицу, а там уже цепью немцы идут. Скорее назад. Давай, орет, ее в ларь заховаем! С дырками ларь-то, продухты держать. Засунули мы туда Идочку, уговариваем: нишкни, умница, ради Господа Бога Христа — нишкни! А дите — семи пядей во лбу, как и все в ихней нации, не плачет, молчит. Закрыли мы крышку, покидали поверх барахла — фуфайки да что, и сидим. Вдруг фриц наш вбегает, Курт то есть. Запыхался, буркалы выкачены — где пупхен?.. Нету пупхена, нету, приехала, говорим, ее мамка и увезла. Где пупхен? — рычит. Туда-сюда зыркнул, кинулся прямо к ларю, сошвырнул барахлишко, хватить нашу Идочку на руки да и в дверь. Черт, орем мы с сестрой, дьявол хвостатый! Не слушает фриц, хлопнул дверь сапожищем и пошел вперевалочку прямо на цепь... Иисусе Христе, мать Божия, в тот момент, видать, во мне рак-то и зародился. Вот, когда, думаю, сказала фрицева кровь! Испугался наш Курт, что узнает начальство про Идочку, так лучше он сам отдаст им в руки жиженка. Ан, смотрим, фриц-то, вроде гуляючи прошел сквозь ихнюю цепь с дитем, да и был таков! Вона, какие дела... А кончилась та облава, вернулся домой. Битте, мол, вашу пупхен. Смеется...

— Так и осталась Идочка с вами?

— Куда ж ее денешь? Поехала я обратно в Москву и взяла ребенка с собой. Сестре неколи с нею возжаться, а у меня, на окраине я живу, какой-никакой огородик. Прокормимся, думаю. И верно, мил ты моя. Всяко бывало, конечно. А все ж таки выучила дите. Пианино даже купила, знай наших!

— Жалеем хоть Идочка вас, баба Надя?

— Кого ж ей еще жалеть? По дому-то я сама управляюсь, а так — ласковая она у меня. И часто-часто мы с ней фрица того поминаем... Курта то есть. Где он сейчас, жив ли? Не сложил ли головушку на войне?

СЛУШАЙСЯ МУЖА!

В тот день, когда Нору начали облучать, к ней приехал Илья с тетей Домной. Да как взялись они оба вытаскивать из кошелки банки и свертки с разной едой — тут и домашний творог, и компот, и котлеты рыбные и куриные, и слава и гордость фирмы — слоеный пирог с сыром, — Нора только руками всплеснула.

— Дорогие мои, вы с ума сошли, здесь же на роту солдат!

— Кушайте, кушайте, — сказала ей тетя Домна. — Вам надо. Зовсім стали на себе не похожи. Один нос торчить, а сами зеленые, як той шпинат!

— Э-э, поделишься, — равнодушно бросил Илья.

Он всегда был готов делиться с людьми, ничего не жалел — ни книг, ни еды, ни одежды. И столь же просто брал у других.

— Это-то ясно, — ответила Нора. — И все равно много.

Но тетя Домна была недовольна.

— Сами скушаете, — проворчала она.

Илья поднялся.

— Пойду поговорю с Еленой Ароновной: как, что, какие прогнозы...

— Не ходи, я все знаю. Она была со мной вполне откровенна.

— Да? Ну, все-таки... Я схожу.

Оставив их на скамейке, он пересек двор. Нора смотрела ему вслед. Илья был высок, строен, широкоплеч — фигура танцора. Но как обычно при сильном волнении, он шел, чуть-чуть спотыкаясь и оттого как будто слегка подпрыгивая — после двух мелких на третьем, уже широком шагу. Эта неровная и прерывистая, как азбука Морзе, походка почему-то казалась ей трогательной. Она вспомнила свои мысли о нем в ту бессонную ночь и стало ей стыдно и больно. "Какой ни на есть, а все же родной человек, — подумала Нора. — Столько прожито вместе, и дети, и все..."

— Нора, — сказала вдруг тетя Домна, — знаете що? Я вас никогда не покину! Не платите мени больше грошей. Буду за мать у вас жить, — подбородок ее задрожал.

— Тетя Домна! — Нора схватила и крепко стиснула ее руку, такую знакомую, с кривоватым мизинцем. — Век вам этого не забуду!

— А на що мени гроши? — повторила она давно облюбованную и, видимо, сладкую ей мысль. — Вы мени — ридна доця, а Тата с Антоном — як те унуки.

— Спасибо, спасибо, родная.

А тетя Домна, смущаясь, закручивала и раскручивала баску своей нарядной, в красный горошек, кофточки — она вообще была страшной франтихой. Когда же случалось ей выйти на люди, одевалась с особенным тщанием.

— Перекажить тут усим, будь ласка, що я у вас не служу, а родня... Добре? — краснея, как девушка, попросила она. — Добре, — с улыбкой ответила Нора.

Засмеялась и тетя Домна. Не много ей было нужно для полного счастья: чтоб только никто не кричал, не хмурился, да чтоб не пугали ее, и еще — чтоб люди как-нибудь не проводили, что она — прислуга. Труда она не боялась, даже любила: стирать ли, готовить ли, гладить — все было ей в радость. Лишь подневольное ее положение казалось ей унижительным. А впрочем, любое чувство бывало у нее мимолетным. И слезы, и смех — почти в одну и ту же минуту, как летний грибной дождь!

Они сидели на скамейке под топодем, наискосок от морга, в воздухе густо летел пух. Это напоминало метель. По асфальту, сбиваясь в комья, бежала поземка.

— А славно у нас тут, — сказала внезапно Нора.

По двору прогуливались больные и гости, и тетя Домна с любопытством оглядывалась вокруг. Все это было для нее развлечением, все интересовало: во что кто одет, кто кому кем приходится, у кого что болит. То и дело она задавала вопросы:

— О-ой, матынька ридна! Хто ж це така чудная? — и указывала на толстую Лиду. А едва получив ответ, живо спрашивала про кого-то другого:

— А о це? А о це?

Когда мимо них прошествовала под ручку с Борисом Берта, тетя Домна, деликатно прикрыв рукой рот, засмеялась:

— А о це що за фря? Понавешала цацкив, як тая елка!

Берта ради любовника вырядилась в японский халат, но всем на потеху шлепала по асфальту огромными, точно лыжи, больничными тапками. В ушах у нее сверкали брильянты, на запястье позванивала чуть ли не дюжина серебряных браслетных колец. Она заливисто хохотала. Лощеный Борис снисходительно улыбался. Крашенные, гладкие волосы были зализаны откуда-то сбоку на лысину, но одна длинная прядь некрасиво свисала назад, на ворот нейлоновой яркой рубашки.

— Це ии чоловік, чи що? — сияя своими ребячески-лучезарными голубыми глазами, допытывалась тетя Домна. А узнав, что любовник, пришла в ужас: — Та як же ж вона не боится? Що людє скажуть? Ма-атынька ридна!

Нора, поглядывая на нее, от души веселилась.

Но тут они обе заметили Томку, которая, держа руки сзади, на больной пояснице, и, подняв зареванное лицо к высокому парню, что-то быстро, взволнованно ему говорила. Нора, хотя и не знала его, поняла, что это и есть ее муж, страстно любимый и любящий. Лицо у парня было плакатно-красивое, лицо того самого, всегда счастливого белозубого юноши, который столь часто, со всех стен, призывает советских граждан держать свои деньги в сберкассе или вступать в ДОСААФ. Не потому ли так странно было увидеть это лицо, испокон веку знакомое, даже приевшееся дурковатой своей беззаботностью, не только не улыбающимся, но мучительно перекошенным? Время от времени он поглаживал Томку по голове, проводил здоровенной, как грабли, ладонью по выпуклому, точно у молодого бычка, и, видимо, влажному лбу своей ненаглядной. А обтерев ладонь о штаны, он поднимал руку снова и, словно в беспамятстве, гладил ей волосы, мокрые щеки, обводил своим грубым пальцем ее детский припухший рот.

Наконец вернулся Илья. Он был взбудоражен. До него, быть может, только теперь дошло, насколько опасна ее бо-

лезнь. Зная его характер, Нора не сомневалась, что завтра, на худой конец — послезавтра, он придет в себя, успокоится, измыслит какое-нибудь фантастическое (непредсказуемое в силу его фантастичности) утешение и постарается перегнуть свое горе (такое сейчас неподдельное, искреннее!) в жгучую неприязнь, даже ненависть, либо к ней, как источнику этого горя, либо к Елене Ароновне, нанесшей ему удар.

Но это — потом. А пока — он расстроен, он сокрушен, полон к Норе участия и, приговаривая ласковые слова, целует ей руки. Но, как всегда в такие минуты, в его черепной коробке крутятся жернова: в каком бы он ни был отчаянном положении, Илья не падает духом, а ищет выход. Недаром ему так нравится притча о двух лягушках, попавших в кувшин с молоком. Уж он-то не сложит лапки, а будет барахтаться и барахтаться, пока не собьет ком масла.

И вот Илья уже вскакивает.

— Помчался на рынок. Который час? Пять? Прекрасно, еще успею.

— Илюша, зачем?

— Надо купить печенку.

— Не надо... Сколько всего наташили!

— Нет! Всю эту дрянь можешь спокойно спустить в унитаз. Я знаю, что тебе нужно: печенку! Или так: пошлем тетю Домну. Вот ключ, сначала на рынок, затем домой, зажарьте, только слегка, с кровью, и сразу назад. На такси! Чтобы уже сегодня, за ужином...

— Илюша, Илюша! Ну что ты порешь горячку? Да и поздно, какая сейчас печенка?

— Молчи! Слушайся мужа! Тетя Домна, вы еще здесь? Ах, да! Nate вам пять рублей. Nate десять! Nate пятнадцать!

— Илюша, вы опоздаете на последний автобус... Что подумают дети? Тата забеспокоится... В другой раз!

— Нет!!! Тетя Домна, пошли. Я придумал. Отправляю ее на дачу, а сам вернусь, принесу.

— Не надо, Илюша.

— Надо. Ты жди. Я приеду.

Илья с тетей Домной спешат к воротам, он идет своей странной походкой, подпрыгивает, спотыкается. Вдруг, от самых уже ворот, несется обратно.

— Норушка! Друг мой! Бедный ты мой малOVER! Я тебя вылечу! Я тебя вытащу! Главное, слушайся мужа! — он прижимает ее к себе, затем крепко хлопает по плечу и бегом бежит к проходной.

ЛОЖЬ И ЛУЧИ

С тех пор ежедневно, точно в назначенный час, Нора спускалась на первый этаж и вставала в очередь в рентгеновский кабинет. Весь длинный ряд скрепленных одной общей планкой стульев обычно был уже занят больными. Но иногда старичок, которого облучали как раз перед ней и который являлся задолго до сеанса, занимал Норе место. И тогда она какое-то время сидела с ним рядом, пока Рахиль Герцевна не выглядывала из двери и не выкликала его по списку: "Бриль, Сергей Филимоныч, пожалуйста бриться!" И он, оставив газету на стуле, шел в кабинет.

Этот старик всегда приходил с газетой. Забавно было смотреть, как он читает "Известия", свирепо выставив нижнюю челюсть и словно что-то жуя. Будто он честно пытается проглотить неудобоваримое и не может. Изредка он, пришепetyвая, произносил что-нибудь вроде: "н-да, интересно!" И ей казалось, что он сам себя убеждает, как маленького, которому впихивают силком рыбий жир или манную кашу: за маму, за папу, за бабу, а он давится.

Как-то в такую минуту Нора скосила глаза, желая узнать, что именно он читает. Оказалось — заметка "Охота за ведьмами". Нора ее пробежала. "Американский художник, — писалось в ней, — рисует не то, что диктует ему жизнь, а то, что копируется на рынке".

Заметив любопытный взгляд Норы, старик вперил в нее свои тусклые, с белым уже ободком вокруг радужной оболочки глаза и молча взял со стула другой номер газеты.

Там была напечатана речь Хрущева. И, как нарочно, Нора наткнулась на следующие слова: "Беда состоит в том, что отдельные художники рассуждают примерно так: кто не понимает наших произведений, тот, значит, не дорос до этого вида искусства". Но тут старик аккуратно сложил газету, подложил ее под себя и прошамкал:

— Кем будешь, дочка?

— Да вот из этих, из самых, — смутилась Нора. — Из бумагомарателей.

— Ну-ну, — пожевал он беззубым ртом. — А я ткач. Не мужинская это шпециальность. А — люблю. Шамое, дочка, милое дело. Физицкий труд, он чи-иштый!

— Оставьте мне вашу газету, если прочли, — попросила Нора.

— Оштавлю. Прочти. Интерешно.

— Бриль Сергей Филимоныч, пожалуйста бритесь! — вызвала Рахиль Герцевна.

Старик вскочил, бойко вытянул руки по швам и дурашливо затынул:

— Шолдатушки, ребятушки, ошиблись вы, да в ком, мержавца называли вы да шталинский нарком!..

— Шустрый старик, — заговорили в очереди, когда он скрылся за дверью. — Балагур! А кишка, между прочим, на пузо выведена. Уж хуже этого рака, наверно, не сыщешь.

...Странное чувство испытывала Нора, входя в рентгеновский кабинет. Во-первых, сама Рахиль Герцевна была по характеру прямой противоположностью Елены Ароновны — пожилая, уродливая, но какая-то легкая, светлая женщина. Слово "рак" отсутствовало в ее лексиконе. Ни у кого из ее пациентов рака не было и в помине. Прямо глядя в лицо больному живыми черными глазами, она весело и привычно врила:

— Да что вы придумываете? Опухоль у вас доброкачественная, вот же передо мной история вашей болезни. Я и сама, клянусь, не отказалась бы от такой опухоли! Несколько сеансов рентгена, и от нее следа не останется. Уверяю вас, это не опухоль, а симпомпончик! — и она целовала свои сведенные в щепоть подагрические детские пальчики.

Уморительная эта лгунья была Норе даже мила. Душа ее с ней отдыхала. Приятно было войти в узкий, чистенький кабинет, отделенный от аппаратного помещения толстой, в два кирпича и со свинцовой прокладкой стеной, с глядящим в единственное окошко кустом бузины. Приятно было смотреть на маленькую, похожую на старую обезьянку врачиху и слушать ее легковесную болтовню.

— Такая же история, как у вас, — говорила она Норе, — была восемь лет назад у известной артистки, — она назвала фамилию, ну и что? Играет в кино по сей день, шикарна, обворожительна, и думать, конечно, забыла о своих неприятностях.

Нора не то чтобы верила ей, но беспардонное это вранье доставляло ей примерно такое же удовольствие, как ловко проделанный фокус или акробатический трюк.

А после того как Рахиль Герцевна проставит в ее карточке цифру рентгенов, которые она ей сегодня вкатит, они вместе входили в таинственно затемненную аппаратную, Нора снимала халат, вытягивалась на застеленном простыней топчане, "безобразная герцогиня" обкладывала ее тело пластинами, оставив лишь предназначенное для облучения оконце, опускала трубу на точно отмеренное с помощью винтов расстояние и исчезала, плотно задвинув за собою свинцовые двери. Затем, уже из уютного своего кабинетика, включала дьявольский аппарат, и Нора одна-одинешенька лежала под нудно зудящей трубой, дыша странно сухим и словно бы сплошь пробитым убийственными лучами, неживым, умерщвленным воздухом.

Однако же, сеанс всякий раз неожиданно быстро кончался, слышалось скрежетанье раздвигаемых на рельсах дверей, в аппаратную со словами: "Ну, отбомбились!" вскакивала "безобразная герцогиня", и, пока Нора надевала халат, она засыпала ее вопросами: "В каком классе дочка?", "А сколько вы платите домработнице?", "Муж вас, конечно же, обожает?" и прочее, в том же духе. Главное в ее психотерапевтическом методе было не дать человеку опомниться, задурить ему голову бытом.

— Так называемая “житейская проза” — великий лекарь, — однажды сказала она. — А вы, я подозреваю, склонны, ма шер, к излишнему философствованию. Никакого трагизму! — подняла она крохотный подагрический пальчик. — Да если бы я поддавалась печальным мыслям, я бы давно отсюда сбежала. А между прочим, у меня был профессиональный рак кожи. Лет десять назад.

— И что?

— Ничего! Видите эти куриные лапки? — она протянула руки. Все чисто, все изумительно. А почему? Потому что я ненавижу трагизм.

И она пошла к двери и крикнула:

— Кто следующий? А-а, Мытникова? Пожалуйста мыться!

ГРОМ, ГРЕМЯЩИЙ ПО ГРОМАМ

С Верой Георгиевной приключилось несчастье. Ее уже собирались выписывать, как вдруг она пожелтела лицом и глаза ее превратились в две злобные капельки желчи. “Боткина...” — едва взглянув на нее, сердито сказала Елена Ароновна. И тотчас по всему этажу пополз слух, что Верушку заразили во время переливания крови.

Вообще взаимное раздражение охватило врачей и больных. Только и слышалось: “коновалы проклятые!”, “ироды!” И даже: “Правильно Сталин хотел их в телячьи вагоны, да и в Сибирь!” Галя носилась из палаты в палату зареванная, взбешенная и, как рыночная торговка, ругалась с больными, которые не соглашались делать укол.

— Шприцы не кипятят, паразиты, и заносят инфекцию!

— Что вы мелете своим языком? Что зря мелете-то? — собачилась Галя. — Как же это не кипятим? Идите, проверьте. Целый день автоклав на плитке стоит!.. Давайте ягодицу!

— Не дам! — рыдала больная. — Хватит рака с меня! Еще сифилис, пожалуй, внесете!

— Какой сифилис? Какой сифилис? — визгливо орала Галя. — Где у нас сифилис тут? Вот счас пожалуюсь Елене Ароновне!

— Жалуйся! Мы сами пожалуемся! В министерство напишем! Жид на жиде сидит и жидом погоняет!

— Это я-то жид? — задохнулась Галя. — Вот я покажу тебе "жид"! Сама жидовка! Заткнись, а то хуже будет!

Дверь в палату, где разразился этот скандал, была отворена настежь, и Нора слышала каждое слово. Ее трясло. Она то делала шаг к палате, чтобы войти туда и что-то сказать (что сказать?!), то затыкала уши. И вдруг увидела Аурелиу. Он шел насколько мог быстро, почти бежал, к звенящей голосами палате. Его появление в дверях лишь на какую-то долю секунды прервало истошные вопли, но тотчас пожар разгорелся еще сильнее. Ведь он и был рассчитан на слушателей.

Аурелиу заговорил, но слова его не долетали до Нору. Да, собственно, и ничьих уже связных фраз в общем гаме нельзя было разобрать. Она слышала только: "Все перемрем! издохнем! угробят! в могилу сведут! сифилис! к черту!" Но постепенно все эти выкрики перешли в рыдания и всхлипывания, и тогда зазвучала тихая речь Аурелиу:

— ...или вы говорите: евреи. Тех врачей давно реабилитировали, они пострадали невинно. А наши... Сколько они кладут сил! Рахиль Герцевна, например. Ну, положи руку на сердце, кто про нее хоть словечко скажет дурное? А она еврейка... Ну, кто?

— Да нет! — загалдели больные. — Рахиль-то славная баба.

— Видите? Это вы просто расстроились, я понимаю, — и он вышел.

— Аурелиу! — окликнула его Нора.

Они давно не встречались. С того вечера, как Илья приезжал с тетей Домной, а потом, еле-еле успев до отбоя, примчался обратно с печенкой, которую только он, с его настырным характером, и мог раздобыть в Москве перед самым закрытием рынка и магазинов, — с того вечера она начала Аурелиу избегать. Особенно остро помнился ей один случай, когда Аурелиу, завидев ее еще издали, бросил играть в шахматы и, извинившись перед партнером, который кричал ему вслед: "Куда ж вы? Разве так поступают?", торопливо направился к ней. А Нора, сделав вид, что его не заметила, повернула на-

зад, унося в душе щемящую жалость к этой нелепой субтильной фигурке, так разлетевшейся ей навстречу и вдруг растерянно замершей посередине аллеи.

И вот она его позвала.

Он взглянул на нее, поздоровался и пошел прочь.

— Аурелиу! — снова крикнула Нора.

Он оглянулся.

— Зачем? — сказал он. — Вы правильно рассудили... Не будем мучить друг друга.

— Вот как? У вас, оказывается, есть самолюбие? — спросила, прищурившись, Нора. — Не знала, не знала...

Аурелиу стоял потупившись.

— Ты ведь не на меня, — наконец, сказал он, — ты на себя, к сожалению, сердисься. И напрасно. Тебе труднее, чем мне. Я свободен, ты связана. Тебе гораздо труднее. Думаешь, я не знаю?

Нора молчала.

— Пойдем погуляем, — сказал он. — Пойдем, моя детка. Я похвалю твой рассказ. Ты чуточку успокоишься... А? А она вдруг надулась.

— Мне похвалы не нужны! Что я — ребенок?

— Как не нужны? Нужны. Похвалы нужны всем. Мне понравился твой рассказ. И главное, я узнавал в нем тебя. Не девочку Соню, а автора. Я читал и видел тебя. Твое детство.

Они шли вдоль ограды, над ними шумели деревья, впервые за все эти жаркие, ясные дни стали сгущаться тучи, резко задул ветер. Пух летел с тополей, смерчами взметаясь вверх.

— Расскажи мне о детстве, хочешь? — вдруг попросил Аурелиу.

— Прямо сейчас?

— Да.

Они дошли до конца аллеи, пора было им поворачивать, но не хотелось идти спиной к ветру, и они стояли, почти упершись в ограду, вернее — в кусты отцветшей сирени, белесые и мохнатые от уличной пыли. Листья смачно шлепали друг о друга, трещали трещоткой. За оградой, как в тот раз, когда

пела Катя, оголтело звеня, пронесся травмай, и на фоне лиловой тучи из-под его дуги ярко вспыхнула белая искра.

— Если рассказывать связно, выйдет целый роман, прямо-таки Рокамболь, — полетела Нора, — потому что отец у меня француз, приехал в Россию мальчишкой, еще до той, до первой войны, а дед, по профессии архитектор, служил в акционерном обществе “Батиньоль”, даже был его пайщиком и проектировал фонари и решетки для Троицкого моста, который это самое общество строило в Петербурге. Буквально все антресоли были у нас забиты рулонами ватманов, я любила рассматривать их и старалась вникнуть, понять, почему мой дед отвергал один вариант за другим и выбрал последний... Тебе интересно?

— Очень, — сказал Аурелиу.

— А мама моя родилась в Дриссе, есть такое местечко под Полоцком, но хоть и еврейка, без права жительства, она совсем юной девушкой, пятнадцатилетней, приехала в Петербург с одним саквояжем, в сшитом из старого пледа пальтишке с буфами. И по протекции дальних, богатых и просвещенных родственников поступила на курсы профессора Лесгафта. Это была большая удача, и все же, когда она, суфражистка, поклонница Горького, с передовыми, даже революционными взглядами барышня, да к тому же еще атеистка, познакомилась на даче в Финляндии с моим папой, его родители, ревностные католики и буржуа, пришли в неописуемый ужас... Ты слушаешь, Аурелиу?

— Зачем спрашивать, — сказал он. — Говори, говори.

Они пошли по аллее назад, ветер толкал их в спины. По земле, обгоняя их, мчался слипшийся в комья и словно в обрывки каната пух тополей, вперемешку с окурками и сорванными с деревьев одинокими листьями, — и все это, зацепившись за урну или за ножку скамьи, временами сбивалось в огромный, сердито курящийся ворох.

Аурелиу и Нора почти бежали к воротам, и первые капли дождя там и сям, словно гвоздики для обивки, по самую шляпку втыкались в сиденья скамеек.

— Но я по порядку не буду, а то и до завтра не кончу, — сказала Нора. — У тебя так бывало, что ты не терпел каких-нибудь слов? Мне нравилось “ладно” и резало слух “хорошо”, и я умоляла папу: “Нет, нет, скажи — ладно!”, и он обязательно извинялся: “Прости, я забыл”. Но это, может быть, мелочь... А мама однажды в Новгороде тащила с вокзала тяжелый рюкзак с продуктами, и один человек, наш знакомый, известный толстовец, Молочников, ей предложил: “Давайте я понесу”, но мама ответила: “Каждый должен сам тащить свой рюкзак”, — вроде в шутку сказала, со смехом, но это, поверь мне, не было для нее пустой фразой... Видишь, я пересказываю. Но после все как-нибудь свяжется — нет?

Они стояли у проходной. На них в окошечко удивленно взирал сторож. Аурелиу ему улыбнулся и, придерживая на груди отвороты пижамной куртки, опять повел Нору буйно шумящей, темной аллеей.

— Странно, — сказала она, — никого никогда мое детство не занимало... А самая важная жизнь была у меня тогда. Возможно, так и у всех?.. Но с первой минутки, едва разлепишь глаза, и до самой последней — уже не минутки даже, какой-то секундошки, пока окунешься в сон, — живешь, живешь в полном смысле, жадно живешь, с наслаждением... И честно. Вот что главное-то. Бывало, если когда и совершь, то все равно честно, не знаю, как объяснить... А сны? Мне и снилось в те времена непременно что-то значительное... Будто вхожу я, к примеру, в наше парадное, и некто светлый, сияющий, в длинной тунике (догадываюсь, что это ангел) стоит вверху на площадке и вроде меня зовет. Бегу, но ангел взбирается выше и выше и ласково и настойчиво манит меня за собой. Я спешу, карабкаюсь через ступеньки, но нет конца этой лестнице, ее поворотам, хотя в нашем доме, я помню это, всего лишь пять этажей. Наконец, понимаю, что мы уже где-то над крышей, в небе, и это прекрасно, прекрасна сама его необъятность и то, что так труден, почти непреодолим для меня этот ангельский путь. Но в том-то и дело, что только почти... Ты что-нибудь понял?

— Все, — сказал он.

— И была у нас няня Анисья, с отсохшей левой рукой — когда-то, еще девчонкой, она серпом перерезала себе сухожилие, — няня верила в Бога, и как-то во мне смешалось православие и католичество, вернее, его атрибуты, которые, благодаря моим дедушке с бабушкой, меня окружали с детства: распятия, мадонны, большая, с роскошными иллюстрациями Доре, адаптированная французская библия... По вечерам я Анисью учила грамоте, а днем мы с ней иногда заходили в церковь, Пантелеймоновскую или Спасскую, и я молилась — сама не знаю, кому и чему, но верю, что это меня очищало от всяческой скверны, от суетности, которую я в себе презирала. И все это удивительным образом уживалось во мне с упоением от яростных драк во дворе, с Жюль Верном и Купером, с Луизой Олькотт, даже с культом Наполеона и черт его знает с чем... А папа любил играть на рояле, и я по первым тактам угадывала Шопена, а за неделю до Рождества мы всей семьей садились вокруг стола, под огромным, с бисерными висюльками абажуром, и вырезали и склеивали из фольги и картона игрушки, было тепло, уютно, пахло клеем, дружно щелкали ножницы, и папа мне что-нибудь объяснял — например, устройство вселенной или машину времени... А летом он иногда вырывался на дачу, и мы катались в лодке по сонному озеру, папа давал мне грести, потом учил меня плавать саженками, и однажды, когда мы сидели с ним у костра — он умел разжигать его одной спичкой, — папа сказал мне, что очень несчастен, потому что на днях накричал на какого-то подчиненного, а того наутро арестовали, и теперь уже он никогда-никогда не загладит своей вины... — Тут она вдруг расплакалась, уткнувшись Аурелиу в грудь.

— И... И... — хотела она продолжать, но слезы ворсистым комом стояли в горле. ("Ну-ну," — говорил Аурелиу.) — И еще, — сглотнув, наконец, этот ком, сказала она, — когда я заболела, — это был дифтерит, — папа меня не отдал в больницу, и мама каждое утро мыла комнату сулемой, а он приходил с работы и рассказывал мне с продолжением разные сказки и притчи — он их сам и придумывал, — о том, например, как мальчик попал в плен и его пытали, но он не выдал

военных секретов. "А мальчик был русский?" — спрашивала я. "Да", — сказал папа. "А он к кому попал в плен? К французам?" Мне казалось, что этим хитрым вопросом я поставлю его в тупик. Папа минутку подумал. "Нет, — сказал он, — я неверно ответил. Мальчик тот был француз, но вырос в России. И когда его взяли в плен, он все-таки русской тайны французам не выдал". — "Почему?" — так и вцепилась я. "Потому что у него была честь", — ответил мой допотопный папа. — Нора судорожно вздохнула. — Вот, Аурелиу. Ты попросил о детстве... Не знаю, что получилось. Да мало ли, что еще было? Всего не расскажешь...

Опять стал накрапывать дождь, да все шибче, все гуще, и, взявшись за руки, они заспешили в корпус. А едва лишь успели вскочить в подъезд, небо треснуло, дождь обломился, рухнул и пошел грохотать, кипеть и раскатываться по асфальтовому двору.

НЕ ОТ МИРА СЕГО

— Послушайте, — сказала однажды Катя, — не пора ли нам перейти на "ты"?

— Конечно, — сказала Нора.

— А то, понимаешь, я не привыкла... Да и мы же с тобой одного профсоюза, чего там. Верно?

Нора кивнула.

— Понравилось, как я пела?

— Очень, — сказала Нора. — Вы... Ты замечательно пела.

Чьи это были песни?

— Деревня! Новеллы Матвеевой.

— Кто это?

— Слу-ушай! Выйдешь отсюда, я тебя образую. А Булата хоть знаешь?

— Нет.

— Ну, милая... Ты не от мира сего. Где ты возвращаешься?

— Я? — пожала плечами Нора. — Нигде.

— Это и видно. Ну ничего, я за тебя возьмусь.

Сегодня у Кати была другая прическа: гладкие волосы с завитыми концами были распущены по плечам. И даже веснушки куда-то исчезли — кожа казалась гладкой и загорелой. Катя стала красивее, но прежде, с веснушками и султанчиком, она имела индивидуальность, теперь это как-то стерлось.

— Что смотришь? — сказала Катя. — Не видела тона?

— Какого тона?

— Господи! Ну, даешь. Откуда такие берутся? У тебя, небось, и любовников не было?

Нора смутилась. И почему-то стыдно было признаться, что нет.

— А у тебя? — как ей показалось, ловко выкрутилась она.

— У меня-то хватало, — просто ответила Катя. — Слушай, давай поговорим про любовь?

— Давай, — с запинкой сказала Нора. И тут же подумала: как это можно кому-нибудь рассказать про их отношения с Ильей? Кто поймет? Кто рассудит? Как выразить все, не опошлив, не упростив? Не умертвив, наконец, того, что еще в них оставалось живого?

Они сидели в комнатке у телевизора — маленького “КВН” с экраном чуть больше почтовой открытки и с линзой, в которую время от времени подливалась дистиллированная вода. Телевизор был сломан. Поминутно кто-то заглядывал к ним, спрашивал: “Не работает?” — и бранясь уходил.

Нора со страхом ждала от Кати вопросов, но та, по-видимому, не имела намерения их задавать. Ей хотелось говорить о себе.

Оказалось, что был у нее недавно один человек, абсолютно свой, за которого можно ручаться, как за себя самое, но характер имел кошмарный, прямо сказать — сволочной, со всякими фанабериями: то душа у него болит, то живот, котлеты за шесть копеек есть не заставишь, подавай ему шашлык, да не как-нибудь, а с кавказской травкой — тарсуном, кинзой, словом, послала она его к черту и не жалеет. Впрочем, теперь с этим делом и вовсе завязано, кому подобная страхолюдина, без обеих грудей, нужна — разве что чокнутому или больному раком, как образно выразился Хрущев, тоже не то, чтоб на ярмарку — с ярмарки едет...

— Не работает? — спросила, сунувшись в дверь, какая-то рожа.

— Нет, — ответила Нора.

— У, едрит вашу!.. — бросила рожа и скрылась.

Хотя, если быть честной (вновь повела свою речь Катя), не очень-то соблазнительна и одногрудая женщина, так что даже она удивляется тому мужику — чего он с ней цацкался больше года, мало, что ли, молоденьких девок? И, поскольку он был, несмотря на свои капризы, человеком в общем-то добрым и тонким, ему иногда удавалось выказать милсту, например: "Ты очень пикантна, и мальчик и девочка сразу, плохо ли?" Но ей было плохо, потому что сначала она никак не могла подобрать протез, моталась за ним куда-то на Ленинский, в специальную поликлинику, где ее привели на склад, а там на полу громоздилась высокая куча поролоновых женских грудей — ну, чем не "Апофеоз войны" Верещагина? Покопалась она в этой куче, выбрала, но разве у нас хоть что-нибудь делают по-людски? Протез был уродливый, и как она только ни подправляла, ни подрезала его — все получалось заметно, а вскоре еще хренолон этот стал загнивать, мокнуть и превращаться в желтую липкую жижу. Словом...

— Не работает?

— Нет!!! — закричали хором Нора и Катя.

Словом, пока ей не подарили прелестный, даже с сосочком — их нравы! — французский протез, она мучилась страшно. Да и потом ей все-таки приходилось зорко следить за собой: чашка с протезом, как более легкая, всегда норовила задраться вверх. Зато уж сейчас, без обеих грудей, будет вроде как симметричнее, и не надо все время оттягивать лифчик либо пристегивать его к поясу, что вовсе не так уж удобно летом. И, если бы ей удалось раздобыть второй французский протез...

— Не работает?

— Нет! Не видите, что ли? Нет!

Да, если бы удалось, она бы недурно выглядела, тем более (усмехнулась Катя), что пышные бюсты нынче не носят, а с маленьким, аккуратным, во-первых, не так заметно, а во-

вторых, получился бы модный силуэт. Да ладно, сумеет она обойтись и без этих проклятых буржуев, из чего-нибудь уж сварганит себе приличную грудь, но вот неизвестно, сколько ей жить-то осталось и, может, нечего колготиться? А впрочем, не это ее волнует, не то, что жизнь подходит к концу. Если б она за нее цеплялась, то, черт возьми, согласилась бы на лечение. И эту сегодняшнюю бодягу (фыркнула Катя) завела она просто со скуки... Правда, есть одно существо, которое дорого ей, и ради него... Но не в этом дело, а надо решиться выйти на площадь, тогда бы, честное слово, не жалко и умереть!

— На площадь? Зачем? — с удивлением спросила Нора.

Но оказалось, что Катя знала. Она заявила, что надо выйти с плакатом, неважно, с каким именно — “отмените цензуру” или “дайте свободные выборы” — лишь бы напомнить людям, что можно бороться, и когда она, Катя, поймет, что дни ее сочтены...

— Не работает?

Но на этот раз заглянул Аурелиу. Обе они покраснели.

— Вы что тут сидите, как мышки? — с доброй улыбкой спросил он.

— Так, треплемся, — ответила Катя, откинувшись к спинке стула и покачивая ногой.

МИСТЕРИИ

Народ в палате слегка перетасовался: Веру Георгиевну отправили в бокс на второй этаж, Паня вернулась назад, но лежала с температурой из-за какого-то осложнения в почках, Берту с Иоганной Карловной взрезали, так что они находились в послеоперационной, и койки их пустовали. Зато на место Веры Георгиевны пришла новенькая. Встретили эту женщину (у нее был рак легкого) не то, чтоб совсем в штыхы, но все-таки сдержанно. Это была немолодая грузинка с жилистым и поджарым телом, но до бесформенности раздутым, отечным лицом. Глаза у нее заплыли до узких щелочек, нос, несмотря на свою благородную хрящеватость, расплюснулся, на шею тяжело свисала трясущаяся, словно одной водой налитая плоть. Круглое это лицо с желтоватой и сухо блестящей кожей напоминало медицинскую грелку. Новенькую тотчас так и прозвали — “грелкой”, хотя у нее было красивое имя — Этери.

Быть может, из-за своей неузнаваемо изменившейся внешности, быть может, из свойственной ей прямо княжеской гордости, Этери ни с кем не общалась, держалась особняком. Целыми днями сидела она на койке, аккуратно перевязав свои черные, с яркой проседью волосы узенькой бархоткой, сложив на коленях руки и глядя в окно. С ее места нельзя было там ничего увидеть, кроме кусочка неба. Но взгляд ее не казался рассеянным, как бывает, когда безразлично, куда ни смотреть, а пристальным и настороженным, будто она все время чего-то ждала. Какого-то чуда, видения или знака, от которого будет зависеть ее судьба. Она и сидела не так, как обычно сидят больные, — привалившись к стене, опершись локтем на подушку либо устало ссутулив плечи, — а, точно аршин проглотив, с напряженной железной спиной.

Этери пичкали верошпероном, а время от времени выкачивали у нее из-под плевры воду целыми литрами. Тогда отеки спадали, в жидкой тестообразной маске проступали красивые, точеные даже черты, горячей и осмысленней становились глаза. На сутки она обретала дар речи и как-то раз снизошла до того, что спросила у Норы, о чем сегодня пишут в газете?

Гвоздем номера было в тот день письмо земляков писателю Ф. Абрамову. Просвещенные наши крестьяне искренне возмущались одним его очерком, который, в силу своей "безадресности", претендует, как они утверждали, на обобщение и возводит поклев на советский колхозный строй. Нора прочла вслух особенно гневный пассаж, и Этери разволновалась.

— Ненавижу писателей! — пылко заявила она.

— Как? Всех ненавидите? — вскинулась Аля.

— Всех! — отрезала та.

— Но за что же?

— За то, что подлизываются, за то, понимаешь, что клятвы забыли! — воинственно сверкнула глазами Этери.

— Клятвы! — воскликнула Аля. — Я поняла ваш намек... Но люди за это время узнали кое-какую правду... Честно сказать — страшноватенькую. Что ж им упорствовать в своих заблуждениях!

— Молчи, глупая девушка, — презрительно оборвала ее Этери. — Молчи, раз не видишь дальше своего носа.

— А вы, пожалуйста, не оскорбляйте!

— Э-э, нужна ты мне, понимаешь! Других забот у меня, что ли, нет? — пожала плечами Этери и вдруг добавила туманную фразу: — Не ослу судить, что за плод хурма.

— Видали? Еще обзывается!

— В самом деле, — сочла своим долгом вмешаться Нора, — вы как-то уж слишком...

— Слишком? — тотчас вскипела Этери. — А по-моему, понимаешь, не слишком! Вы, я вижу, глупые обе. Если ума не хватает, иначе вам, понимаешь, скажу: когда отара назад повернет, хромой баран во главе идет... Ну, ясно теперь?

— Это вы про Хрущева, да? — сощурилась Аля.

— Про кого же еще? — с высоты своего величия ответствовала Этери. — Все позабыли, благодарности не имеют, — а кто государство от Гитлера спас? Кто работал ночами, пока, понимаешь, мы спали под одеялом? Кто парил в поднебесье, как горный орел?! И те, кто ползали перед ним на коленях, целовали следы его ног на земле, теперь клюют его печень!!! — она надрывно закашлялась и не могла продолжать.

— Пошли погуляем, Аля, — тихо позвала Нора.

— Правильно, а то тут прямо нечем дышать!

Они вышли. Во дворе было солнечно, пусто, только вдали, под тополем, прохаживалась, заложив руки за спину, Катя. Они направились к ней и, так как им нужен был слушатель, стали наперебой рассказывать про недавнее столкновение с Этери.

— О, Господи! Сколько таких — миллионы! — раздраженно воскликнула Катя. — А вы как будто с луны свалились! Да их — как собак нерезаных! Не только у нас — во Франции, в Гватемале, в каком-нибудь Мозамбике, не удивлюсь, если даже на острове Пасхи! Причем, их страдание кажется им священным: повержено, осквернено божество!.. Я помню, как в день его похорон у нас в мастерской работал один реставратор из Ленинграда. Знаменитый Аверинцев, слышали? Ну, неважно. Так вот у нас все, конечно, рыдали. А этот не-

вежда, напротив, знай, мурлычет какие-то арии: "О, баядера, тара-рим, тара-рам" и прочие в том же духе. Ну, шикнули раз на него, потом сделали замечание, наконец, — разорвались: "Если вы сами такой чурбан, уважайте хоть наши чувства!" Он страшно смутился, просил прощения, объяснил, что это он машинально, однако, его едва не убили... И что характерно, — добавила после молчания Катя, — у нас там, в общем, простые советские люди, а значит, каждый второй испытал на себе все прелести сталинского режима. Но ему, божеству, ему, корифею, прощалась любая жестокость. Не то, что нашему нынешнему. Этому — всякое лыко в строку. А почему? Ведь он же все-таки добрый царь.

— Может быть, потому, — нетвердо ответила Нора, — что люди любят именно сильную власть? И что народ привык окутывать ее тайной? Им по душе, когда перед ними разыгрывают мистерии. Они сами жаждут участвовать в них... И чтоб пышно было. Чем пышнее, тем лучше. И еще — чтобы страшно. В страхе — великая красота. Он эстетичен! Это, кстати, прекрасно понял и Гитлер: ночные шествия, факелы... До факелов, правда, у нас не дошло. Ну, было другое. А главное, этих умеренных немцев надо как-то еще взвинтить, подстегнуть. Наших — не требуется. Мы — унтер-офицерские вдовы, отроду, изначально, готовые себя высесть. Своими же собственными руками... Или то, что я говорю, сплошная галиматья?

— Конечно, — строго заметила Аля. — Про вдову у Гоголя совсем в другом смысле!

Катя расхохоталась.

— Умница-девочка! А ну-ка скажи нам, что ты по этому поводу думаешь?

— Я-то? — сказала она. — Я лично прямо не надивлюсь, какая у всех в головах каша! Вот вы... Как это вы, Катерина Петровна, назвали Хрущева царем? Или у Норы — сравнение с Гитлером. Неисторично! И в философии вы хромаете на обе ноги!

— Что ж, дай нам хорошую взбучку! — с улыбкой сказала Катя.

— И дам!.. Конечно, кто спорит? Есть у нас и ошибки. Но кому они застят свет, тот не умеет мыслить. Я вот и маме своей говорю. Она жила в Ленинграде, работала сборщицей на заводе (а маленький был заводик, электрические звонки выпускал), и как-то во время блокады, зимой, в метель, она опоздала. На сорок, что ли, минут. Такой был занос, что стали трамваи. А маму отдали под суд. Тем лишь только спаслась, что в трамвайном депо пожалели, выдали справочку. Она обижается: как же, мол, так? С семнадцати лет в коллективе, знают ее, как облупленную, ни одного замечания, да война, да голод, и трамваи ведь не ходили, чем она виновата? Я ей толкую: мама, ты не права, решалась судьба государства, судьба идеи, нельзя свою личную боль ставить выше всего! А она мне талдычит: дали бы, мол, тогда срок, и тебя бы на свете не было, дура! Ну, и пусть бы не было, говорю, это не довод!

Аля победоносно взглянула на них, явно гордясь собой. Но так как они не издали ни звука, она решила продолжить:

— Иное дело — законы. Их следует совершенствовать. Постепенно, конечно. Должна назреть историческая необходимость. Вот назрел наш двадцатый съезд, он и произошел. Одни за это Хрущева хвалят, другие ругают, как наша Этери... Глупость! Он только орудие!

Тут она, наконец, замолчала, как студентка, которая полагает, что теперь-то уж ей обеспечен высокий балл.

— Да-а, — протянула Катя, — опасный ты человек.

— Это еще почему?

— А тебе не известно, к чему приводит подобный детерминизм?

— Не поймаете! — гордо ответила Аля. — У меня по истмату пятерка! Ясно, что люди творят историю. Но не по своему произволу. Они зависят от обстоятельств. Вот так!

Катя саркастически поклонилась.

— Поздравляю. Очень удобная философия. Кстати, именно ею оправдывались все политические бандиты. Эсэсовцы, например: я-то хороший, да что я мог сделать? Объективная обстановка!.. Что же это, если не фатализм? Только в роли

Божьего промысла выступает так называемая историческая необходимость. А человек, моя милая, лишь тогда "звучит гордо", небось, вставляла в школьные сочинения эту цитату, когда он использует свое право — выбрать. Выбрать, как поступить: по совести или так, как диктует ему обстановка... Ваши вечные, подлые обстоятельства!

Катя говорила сейчас о своем, и голос ее дрожал. По лицу скользили тени колеблемых ветром листьев.

— Поразительно! — сказала она, посмотрев на Нору. — Как они все-таки ухитрились окутать такую топорную, приземленную философию мистически непроглядным туманом?

Нора молча кивнула на морг. Оттуда несло сладковатой покойницкой вонью, смешанной с запахом дезинфекции, вялых цветов и хвои.

— Ясненько, ясненько... Трупы — они смердят, это верно. Усекла твою мысль? — с усмешкой спросила Катя.

Аля стояла вся красная, вперив в них твердую, непрозрачную бирюзу своих глаз.

— Вы... вы... Вы прямо, как эти... как обыватели! Хуже! Вы обе, если хотите знать...

— Мы не хотим, — перебила холодно Катя.

ЗВЕНЕЛО СТЕКЛО...

Уже через несколько дней стали сказываться на Норе последствия облучения. Резко упали в крови лейкоциты, настроение было подавленное. Ей велели больше гулять, но гулять не тянуло, и она валялась на скомканной простыне в душной, пропахшей мочой и гноем палате — смурная, с вяло текущими бледными мыслями, со слезами в глазах. От этих застойных слез весь мир представлялся аквариумом, в котором колышутся длинные плети водорослей, шмыгают взад и вперед какие-то зыбкие плавники и хвосты...

В один из таких дней приехал с дачи Илья. Он привез ей творог, сырую морковь и печенку, которую Нора не только есть, но и видеть уже не могла. Они сидели в тени под тополем, Нора уныло молчала, а Илья, поставив каблук на сиденье

и обняв свою согнутую в колене и плотно прижатую к груди ногу, безостановочно говорил. Его странная поза, неистовое сверкание глаз, захлебывающаяся, хотя, как всегда, и цветистая речь обратили, наконец, на себя внимание Норы.

— Ты случайно не болен?

— С чего ты взяла? Я не просто здоров, а здоров, как бык! У меня такой прилив сил и энергии, какого давно не было. Я чувствую, что могу перевернуть земной шар... Ха-ха! Дайте мне точку опоры... Кто это сказал? Архимед? Приятно иметь образованную жену! А я — Митрофанушка, недоросль, два класса церковно-приходской школы, до всего остального дошел своей головой!.. Когда в середине двадцатых годов я прибыл в Лондон и заблудился, некий прохожий, вежливо приподняв котелок, попытался мне втолковать, как дойти до отеля. Сначала он говорил по-английски, потом два-три слова сказал по-французски, наконец, перешел на голландский, на шведский или черт его знает, какой язык, и, так как я продолжал стоять перед ним дубина дубиной, он развел этак в стороны гантированные короткие ручки, произнес: "I'm sorry" и, поклонившись, ушел. Я тотчас себе поклялся, что выучу хотя бы один европейский язык, да как-то было все недосуг, пока меня — ха-ха! — не схватили за шкирку и не бросили в одиночную камеру Бутырской тюрьмы. Не знаю, как нынче, а в те благословенные времена библиотека в Бутырках была богатейшая. Я затребовал французский самоучитель и вскоре уже кое-как читал роман Пруста...

— Пруста?!

— Вот именно, до сих пор не переведенный, "Albertine disparue", — роман, который, кроме меня, вряд ли кто в России прочел... А затем, уже в лагере, где я лежал на нарах бок о бок с одним потрясающим человеком, капитаном дальнего плавания и английским шпионом, причем, настоящим шпионом, не вымышленным, — я стал потихоньку да полегоньку изучать английский язык... Слушай, я тебе не рассказывал, каких я людей там сподобился встретить. Нигде в другом месте я бы их никогда не увидел, так что спасибо Кобе, низжайший ему поклон от старого каторжника. Там был канад-

ский епископ, три японца, почти — ха-ха! — как в детской считалке, помнишь? — Як, Як-ци-драк, Як-ци-драк-ци-драк-ци-дрони, — но, к сожалению, без своих очаровательных жен; один презабавнейший кулачишка, рыжая, не белокурая, а именно рыжая бестия, Митрич, учивший меня уму-разуму; юный фальшивомонетчик, одаренная артистическая натура, красавец-мальчишка, который и в лагере изловчился печатать бумажные деньги и которого в одно распрекрасное утро повели на расстрел мимо нашей траншеи, где мы стояли с лопатами по колено в воде... Он шел, посвистывая, высоко задрав голову, и вдруг, обернувшись, махнул нам рукой и крикнул: "Ешьте вашу кашу, братишки, я лично сыт!"

— Его расстреляли?

— Через минуту... Так неужели — как ты считаешь? — мне было бы лучше сидеть, изнывая от скуки, в президиумах, пожимать, принимая орден, потную руку всесоюзного старосты, этой драной калоши Калинина, который — ха-ха! — переспал со всем кордебалетом Большого, академического, поганого, феодального театра, покупать себе шмотки и молча смотреть, как гибнет моя революция? Неужели мне эта жизнь была бы мила?.. Нет, я счастлив, что был в лагере с моим капитаном, с японцами, с Митричем, даже с фальшивомонетчиком Юркой! Каждый из них преподавал мне какой-то урок. А тем, кто трясся здесь по ночам, со страхом прислушиваясь к шороху шин за окном и к стуку двери в парадном, — им разве ведомо счастье брякнуться после работы на нары и спать, спать — величаво, блаженно, как праведник, как король?.. И разве хоть кто-то из них прошел бы, подобно мне, пешедралом тысячу километров по апрельскому слепящему снегу, когда меня вдруг — правда, с приходом на сцену Лаврушки — выпустили на волю? Я не стал дожидаться, как фраер, транспорта и побрел, увязая в сугробах, от одной деревни к другой, потерял очки, обморозил щеки, зато моя язва зарубцевалась, я просто чувствовал, как на ходу здороваю, крепну, и — ха-ха-ха! — расхохотался он на весь двор, да так громогласно, что грянуло эхо, — знаешь, что я съедал, когда чуть ли уже не ползком добирался к

вечеру до населенного пункта? Я съедал буханку черного липкого хлеба и выпивал бидон молока! Это я-то, хронический язвенник, и — ничего! И не знал я пищи вкуснее во всю мою жизнь!

Он сидел на скамье уже по-турецки, что Нору отчасти смущало так же, как, впрочем, его трескучий, насильственный смех.

— Илюша, у тебя, по-моему, жар, — сказала она.

— Жар? Какой жар? При чем жар?.. Да что ты ко мне пристала? — рассвирепел вдруг Илья, мгновенно забыв о своем ликовании.

Тут он впервые внимательно посмотрел ей в лицо.

— Что с тобой? — спросил он. — Ты похожа на злобную старушонку процентщицу... Муху, что ли, ты проглотила?

— Как ты груб, — еле слышно сказала она.

— Вот вечно ты так! — он вскочил и стоял теперь перед ней, высокий, в наглаженной белой рубашке с закатанными до локтей рукавами, бронзово-загорелый, худой, с фанатическим блеском в глазах. — Едва лишь почувствуешь, что я весел, что я окрылен, полон планов и мыслей, тебе непременно нужно дать мне подножку, подрезать, испортить мне все настроение. Что у тебя за постная мина? И откуда это стремление вечно корчить великомученицу? Это у вас у всех от русской литературы! Еще от самого Пушкина! Не говоря уж о Вырине, даже Евгений, с его жалким, ничтожным "ужо тебе", на века вперед искалечил наших интеллигентов, и ты...

— Но он же восстал, он грозил истукану, пытался спасти возлюбленную, он — человек, — тихо вставила Нора.

— Э, молчи! Куда он там лез, несчастный комар! — заорал, как в припадке, Илья. — Со своими сопливыми чувствами! Ноль без палочки, пешка! Что он мог против сильного государства?.. Нет, правильно кто-то сказал: все пишут про то, как они всю жизнь страдали, и ни один — про то, как всю жизнь радовался. А вот я хочу написать, как никогда не хныкал, — даже там, где другие только и знали, что волком выть на луну... Помнишь тех полек, графинь, мать и дочь, из семейства, кажется, Радзивиллов, которые очутились во время

войны в колхозе под Омском? Тогда, как в тридцатые годы, партия бросила клич: "девушки — на трактора!" И обе они, молодая и пожилая, не побоялись измазать в тавоте свои холеные "рэнчки", сели на трактор и стали ударницами... Вот это и есть аристократизм духа, а не ваш фамильный филистерский снобизм, не ваша занюханная "высокобровость" под девизом: "Без нас!"

— Послушай, что ты болтаешь? — наконец, рассердилась Нора. — Какая "высокобровость"? Папа строил дороги, мама ночами дежурила в эвакупункте и даже сама заразилась там сыпняком, я, хоть и не садилась на трактор, но, как тебе отлично известно, всласть и досыта намахалась лопатой... Что ты, собственно, хочешь сказать?

— А то я хочу сказать, — завопил Илья благим матом, так что в окна высунулось сразу несколько любопытных, — что с недавних пор ты взялась разыгрывать роль вольтерьянки или, вернее, такой светской брюзги, а теперь и вовсе сидишь тут с такой скучающей мерзкой рожей, будто я порю несусветную чушь, а тебе открыта истина в последней инстанции. Не надейся, моя дорогая, что ты, прикрываясь болезнью, будешь уже безнаказанно отравлять вокруг себя воздух мизмами скепсиса! Не позволю! Детей на откуп тебе не отдам!!!

— Пошел к черту, — сказала Нора и, встав со скамьи, на ватных ногах побрела в корпус.

— Эй ты! — крикнул ей в спину Илья. — Забери свои баночки-скляночки, морковки-печеночки, творожки и сметаночки! А то — что же барыня будут кушать?

Нора не обернулась. Только услышала, как Илья со всего размаху швыряет все это в урну: звенело стекло.

ПЕРЕВОДНЫЕ КАРТИНКИ

Она проревела ночь напролет, а утром приехала Тата.

— Что случилось? — спросила испуганно Нора. — У меня же вчера был папа...

— Вот именно, — ответила Тата.

— И что?

— Ты очень расстроена?

— Почему ты решила?

— Ма-амочка! — протянула Тата. — У тебя же все на лице написано. Это — во-первых. А во-вторых, он приехал вчера на дачу и так бушевал, ну, думаем, разнесет в пух и прах!

— Мы с ним немножко поссорились, — покраснела Нора.

— Да уж можно себе представить. Папа кричал: "Подумаешь, рак! Все зависит от человека, от его настроения! У мамы не рак желудка, не рак легких, всего только грудь! Захочет вылечиться — будет здорова. А станет нюнить, бить на жалость, слюни пускать — умрет!" Кричал и на нас, и на тетю Домну, чтоб мы не давали тебе потачки, не говорили жалостных слов... "Работать! Заставим ее работать!" — и все такое. В общем, тебе понятно. А после скомандовал: "Спать! Завтра всех подниму чем свет, хватит нежиться на перинах!" Я засмеялась: "Какие перины, папа?" Он аж побелел. Губы трясутся, руки трясутся, глаза сумасшедшие... Да ка-ак рывкнет: "Кру-гом, марш!" Антон от него так и дунул. А потом, уже с раскладушки, слышу — сидит отец на терраске и плачет. Сдавленные такие рыдания... Я поднялась, тихонечко выглянула, а он что-то пишет. Утром оказалось — письмо. Тебе, мамочка. Отвези, говорит. А сам на меня и не смотрит.

— Где оно?

— Вот, — протянула Тата конверт. — Извини, но я его вскрыла. Вдруг, там какие-то гадости? Но оно ничего. Как будто... погоди, не читай! Сначала еще про папу. Он взвинчен, не спит по ночам, худеет. И эти словесные Ниагары... Сто слов в минуту! Ведь он что? Посадит Антона перед собой, и пошло, и поехало: Троцкий, Бухарчик, Берия, Коба, Хрущев... Ребенок только глазами хлопает. Но это ладно, так было всегда. А сейчас у него, по-моему, нервный срыв. Его бы к врачу, да как это сделать? Едва заикнулась, так он на меня почти с кулаками: "Отстань от меня, не лезь!" Мамочка, родненькая, — Тата ее обняла, — прости, я, наверно, тебя еще больше расстроила... Но, понимаешь? Он тебя все-таки любит. Вот зачем я приехала. Чтобы это сказать.

— Спасибо, — сказала Нора. — Спасибо за эти слова. Вообще ты правильно все рассудила. От меня ничего не надо скрывать. Вы там пока не очень его раздражайте, а я на днях напишусь, и тогда...

— Мамочка, нет! Я не к тому... — Тата, как взрослая, погладила Нору по волосам. — Ты лечись, не выходи раньше срока. Ни в коем случае, слышишь? Я тебе запрещаю! — строго, почти даже грозно сказала она, но тотчас и улыбнулась, смягчая еле заметной шутливостью свой непререкаемый тон. — Я успокоить тебя приехала, а ты всполохнулась, как куропатка! Цело, цело твоё гнездо, не волнуйся! И птенцы твои сыты. Ма-мочка, ну, пожалуйста...

“Хватит, — подумала Нора, — пора выбираться отсюда... А то окопалась тут и сижу!”

Она оглянулась кругом, и — странно — взгляд ее вдруг прояснился: все люди, предметы (скамейки, деревья, кусты, ворота, забор) — ничто не струилось, не колыхалось, как раньше, а обретало четкие очертания, естественный цвет, как бывает с переводными картинками, когда с них бережно стянешь мокрую пленку.

— Мама, письмо, — напомнила Тата.

Нора вынула его из конверта и увидела размашистый, крупный почерк Ильи:

“Прости, Нора, прости меня, старого дурака, я не знаю, что со мной происходит. Теперь, когда главное позади, так уж и быть, сознаюсь: твоя болезнь напрочь сбила меня с катушек. После твоей операции я ходил сам не свой, нервничал, хватался, как утопающий за соломинку, а когда, наконец-то, поверив, что все обойдется, взял себя в руки и пришел к тебе с этим чувством, с этой надеждой, ты... Но — ладно, не буду тебя упрекать. Пойми хоть сейчас: нельзя плыть по воле волн в океане печали, а надо править челном, энергично грести, отгоняя печаль от себя... Скоро полночь, сна ни в одном глазу, буду читать. Подумай, Нора, над тем, что я написал, — это опыт всей моей жизни. Целую, еще раз прости. Твой Илья”.

— Ну как? — волнуясь, спросила Тата.

Норе письмо не понравилось, хотя и растрогало. Илья и писал его, зная наверняка, что Нора будет растрогана. И про челн все правильно, и про печаль. Что челном надо править, а печаль отгрести... А впрочем, печаль иногда нужна человеку. Она его просветляет. Да и челн хоть изредка стоит пускать по волнам...

— А знаешь, — сказала она, — от человека, и правда, много зависит. Кто в Ленинграде мылся во время блокады, тот выжил, это известно. А еще я знаю один удивительный случай: про летчика, который, получив три смертельных ранения, все-таки дотянул самолет до базы, посадил на землю и только тогда умер. Часто мы сами не знаем, на что способны... Тут у нас есть одна докторша, так она говорит, что житейская проза — великий лекарь. А по-моему, чувство долга. Вот, что врачует. Долг!

— Как ты грустно все это говоришь, — заметила Тата.

Она не ответила. Они стояли у самой ограды и смотрели на улицу. По тротуару шли люди, разговаривали, смеялись, кто-то сказал: "Моя с репетитором занимается", постукивали женские каблочки, тяжело прошаркал мимо старик с бутылкой кефира и четвертушкой хлеба в авоське, растянувшейся до земли. Банда парней — их было пятеро или шестеро — пристала к девчонке, та забавно, как козочка, боком, проворно отпрыгнула на мостовую. Потом, переваливаясь на отекавших слоновьих ногах, проковыляла толстая женщина, но встала вдруг, словно споткнувшись, и, не видя, что за ней наблюдают, принялась озабоченно шарить в своем ридикюле, вытаскивать жалкие жеванные рубли, разглаживать их и складывать в пачечку, шевеля губами и вновь и вновь пересчитывая свой капитал. На мгновение она замерла, задрав голову, ошарашенно глядя в небо, стараясь, по-видимому, припомнить какую-то трату. Она стояла, как памятник домохозяйке, даже величественной, в извечной, горестной своей захлопоченности. Но тут женщина обернулась, увидела Нору, и глаза ее застеклил ужас.

Не меньший, однако, ужас испытала и Нора. Эта женщина с пачкой измятых рублей в руке, неухоженный, одинокий

старик с кефиром, веселые хамы, с дурным гогом толкнущие девушку, сама эта девушка, которая, отскочив, обозвала их новомодным газетным словом "тунеядцы!", фраза про репетитора, женские туфельки — все это была та жизнь "за оградой", от которой она успела отвыкнуть. Суматошная, повседневная жизнь. И теперь, когда окружающий мир уже не казался Норе расплывчатым и неясным, а излишне, до рези в глазах, ядовито раскрашенным, четким, — он снова ее напугал.

Тата все поняла. Она взяла Нору под руку, увела от ограды в аллею. Здесь было тихо, над головой благодатно шелестела листва, мирно прогуливались больные — все, точно эки или монахи, в одинаковых одеяниях, отчего в их измученных лицах, в истомленных, недужных фигурах лишь явственней проступало то истинно человеческое, что было им от рождения свойственно, отцеженное страданием от наносного, от суеты.

А рядом шла взрослая девочка, поддерживала Нору под локоть, тактично молчала. Будь Тата чуть-чуть грустнее, выкажи она беспокойство или, тем более, страх, — и Нора совсем пала бы духом. А если б она держалась на йоту беспечней, у Норы возникло бы чувство отверженности, быть может, уже безвозвратного своего отщепенства. Но Тата вела себя именно так, как следовало, и постепенно, шаг за шагом, душа умячалась успокоением.

— Скажи отцу, что я тоже прошу у него прощения. Вчера, это верно, я что-то куксилась... Словом, он прав.

— Маму-уля! — воскликнула Тата. — Вот это не нужно.

— Да клянусь тебе...

— Не нужно, — повторила она.

КРАТКО ВЫРАЗИТЬ СУТЬ

— Не умоляйте меня, что за фокусы? — сказала Елена Ароновна. — Я сама знаю, когда вас выписывать. Не раньше следующей недели. А пока перельем вам кровь... Мушки летают

в глазах? То-то же... А как вы устроетесь с облучением?

— Буду ездить.

— Отлично. И завтра начнете тестостерон. Пора.

— "Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит", — с усмешкой сказала Нора.

А Елена Ароновна, обычно такая замкнутая, неожиданно подхватила:

— "Летят за днями дни, и каждый час уносит..." — но тотчас, словно бы поперхнувшись, умолкла.

Они остро переглянулись — как будто крючки запустили друг в друга — и Нора ушла.

Она спустилась во двор, побрела к аллее, бормоча про себя стихи, вроде вспомнившиеся ей невпопад, но столь отвечающие ее и, как выяснилось, не только ее настроению.

"...и каждый час уносит

Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем

Предполагаем жить, и глядь — как раз умрем.

На свете счастья нет, но есть покой и воля.

Давно завидная мечтается мне доля —

Давно, усталый раб, замыслил я побег..."

"Вот только, — думала Нора, — в какую обитель? Где она? И каких трудов?.. И главное — каких "чистых нег"? Неги — это не про меня. Не про нас вообще. Не про нашу жизнь. Да и покой! Нет покоя у нас, нет воли. Ничего у нас нет".

— Нора! — окликнула ее Роза, бежавшая за ней во весь дух. — Иди скорей, тебя ищут! В процедурную, живо! На переливание крови!

— Спасибо, иду, — сказала она, как вдруг заметила Аурелиу, который шел по аллее, еще издали ей улыбаясь. Она подождала его.

— Здравствуй, милая. Ты куда?

Нора ответила.

— Я тебя провожу, — сказал он.

Они пошли вместе к корпусу. Аурелиу молчал, она тоже.

— Можно задать вопрос? — спросил он внезапно.

— Конечно.

— Позавчера на тебя кричал муж. Я услышал из палаты и выглянул. Скажи... Он часто так на тебя кричит?

— Н-не особенно... — она покраснела.

— Я знал, — отвернувшись, сказал Аурелиу. — Я это давно, почти сразу понял. Но я не хотел о нем плохо думать. Вернее, не мог.

— Нет, нет, — сказала она. — Ты ошибаешься! В нем много хорошего. Честное слово. Не веришь?

— Тебе неприятно? — тихо спросил он. — Наверное, я не имел права... Прости. Но, с другой стороны, если бы я промолчал, это было бы, словно я устраниюсь... А это неправда.

— Я сама виновата, — быстро сказала Нора. — Вообще я жуткая эгоистка! Моя дочь гораздо лучше, умнее, добрее меня.

— Вы тут вчера гуляли, — сказал Аурелиу, — я наблюдал за вами... Она тебя очень любит.

— Не знаю. Она меня видит насквозь. А я вот не вижу ее насквозь... Я даже немножко ее побаиваюсь.

— Если немножко, то это неплохо, знаешь? — сказал он с улыбкой. — Я тоже побаивался своего брата. Потому что он был лучше меня. А теперь побаиваюсь тебя...

— Слушай, — сказала Нора, схватив его за рукав. — Давай уедем с тобой в Александров? Там яблонька у тебя под окном. Будем гулять у монастырской стены. Я буду варить тебе суп. От всех спрячемся. Я на машинке буду печатать. Я хорошо печатаю! Много ли нам с тобой нужно? Только покой и воля! У нас они будут. И труд. Физический труд, он чистый! — вспомнились ей слова того шустрого старика. — А без неги мы обойдемся... Правда же, Аурелиу? На что нам какая-то нега? Это в девятнадцатом веке о ней мечтали... Да и тогда ее не было. А мы и мечтать не станем... Заведем черепаху... — она заплакала.

— Ну-ну, — бормотал он. — Ну-ну, моя девочка, ты иди, тебе сейчас перельют прекрасную, бодрую кровь... А насчет Александрова... Мы еще это обсудим, ладно?

Она улыбнулась сквозь слезы, он тоже ей улыбнулся. Они постояли минутку и разошлись.

В процедурной уже лежала какая-то женщина. Ей тоже переливали кровь. Нора легла на соседний топчан. Сестра

вогнала ей в вену иглу, потом вышла, и Нора с женщиной остались наедине. Обе молчали. В автоклаве что-то булькало и потрескивало. У окна жужжала огромная синяя муха, вновь и вновь налетая и стучаясь о стекло с обреченностью камикадзе.

— Что у вас? — спросила вдруг женщина.

— Грудь, — ответила Нора. — А у вас?

Она давно поняла: когда незнакомому человеку задают здесь вопрос о его болезни, это попросту означает, что хотят рассказать о себе.

— У меня лейкемия, — сказала женщина. — Но я ничего, не жалуюсь, я согласна.

— То есть, как?

— А так, согласна, и все. Но дочка, дочка... Что с нею будет?

— Маленькая?

— Нет. Но она больная. Туберкулез. Да какой! Кишечника! Вы, небось, о таком и не слыхивали. Мы сами не знали, пока не свалилась эта беда. Про себя я не думаю, я не жалуюсь, нет! Но дочка... Что с нею будет?

— Где она?

— В санатории. А иначе — как мне в больницу? Я ведь нянька при ней. Но нам повезло, я достала путевку на целых два срока. Отправила и скорее сюда.

— Вы не москвичка? — спросила Нора, понимая, что теперь ее собеседнице нужны лишь коротенькие вопросы, от которых, точно костер от сухих щепок, еще жарче займется ее и без того горячая речь.

— Родилась-то я в Кривоколенном, знаете этот миленький переулочек? Но потом... Ну да ладно, это совсем другая статья... А сейчас мы в Ташкенте. Привыкла, живу, и если б не климат... Но не думайте, что я жалуюсь. Нет! И какое счастье, что выбила Ире путевку. Уж так повезло! Все-таки мир не без добрых людей.

— Это верно.

— Прихожу к своему профсоюзному боссу (без всякой, заметьте, надежды, — потому что, хоть я и работаю в Акаде-

мии, но ведь мелкая сошка, младший научный сотрудник!) и нахально прошу путевку. Даже требую, представляете? А он, добрейшей души человек, говорит: "Будет тебе путевка, достану". Но я не верю: "Нет, правда? А вы не обманете?" Он даже брови вскинул: "Когда я тебя обманывал?" Сижу, хмурюсь: ведь прошлым летом он меня за нос водил. "Обманывали", — вздыхаю. Смеется: "Вот и видно, что русская женщина. Мусульманка бы так не сказала! Ты вот что, — придешь через две недели, а пока напиши на меня рецензию". Что будешь делать? Пишу. А время идет, а Ирочке надо лечиться, да и мне с моей лейкемией... Ладно. Являюсь. "Поехали", — говорит. "Куда?" — "Э-э, сразу видно — русская женщина. Мусульманка бы не спросила". Молчу уж, не спорю. Садимся мы в "пирожок", машина такая, пикапчик, едем в Союз композиторов. Там он с шутками-прибаутками — вы, мол, нам, а мы вам, — выбивает Ире путевку. Ни то, ни се — один срок. Что нам двадцать четыре дня? В Москве ведь тоже надо поклоняться, чтобы дали иногородней место в больнице! Но надо же — повезло: встречаю знакомого. "Ерунда, — говорит. — Вот у женки моей трагедия, так трагедия: не может диплом до ума довести. Не посмотришь? А она, мол, тебе путевку устроит". Засела я за диплом. Там, понятно, и конь не валялся. А диплом про поэта Рождественского. О, Господи, думаю. Однако с грехом пополам написала, ташу. Ну и в обмен на этого самого Роберта — они мне путевку, да не подряд с моей первой, а через месяц... Я чуть не плачу. Выходит, напрасны были мои старания! И вот же нельзя так думать. Опять повезло. Попался один аспирант. "А вы, говорит, к Сергееву обратитесь". — "Кто таков?" — "Сергеев-то? Из фельдъегерской службы ГБ". — "Да при чем же тут эта служба?" — "Нет, говорит, вы чудачка! У них не то, что сроки путевок, луну, говорит, на звезды запросто обменяешь! Скажите, что от меня. Я ему кое-что делал". Иду искать эту службу. А она, между прочим, закамouflирована: ни таблички нигде, ничего. Битый час бродила вокруг да около, пока надо мной не сжалился один старичок-узбек. "Чего потеряла?" — и тычет пальцем в их особняк. Ладно, иду. Выходит

этакий хлюст: "Что у вас?" — говорит. Я объясняю. "Ну, это раз плюнуть!" — и тут же осекся. "Вы где работаете?" — "В Академии". — "А нет ли у вас в Университете знакомых?" — "Нет, — отвечаю, — увы". — "Жаль, жаль, — говорит. — Прямо не знаю, как быть с путевкой-то вашей". — "А что?" — "Да сынок у меня поступает, а он прошлый год провалился по математике". — "Привет", — говорю, а сама уже думаю: "Кто там есть у меня знакомый из математиков?" Ага, муж соседки по дому, ура, до чего же удачно сошлось! Лечу к ней: "Фарида, помоги!" И, как заклинание, добавляю одну узбекскую фразу: мол, буду прислуживать на свадьбе твоих сыновей. На эти слова отвечать отказом у них не положено. Не гостем, дескать, приду, а прислужой... "Хорошо, — говорит, — пошли к мужу". Муж выслушал все и сказал: "Больше тройки не обещаю". Бегу в особняк. "Товарищ Сергеев, тройка вам обеспечена!" И все, и кончилась эпопея. Я считаю, очень удачно. Отправила Ирочку в санаторий, а сама, не теряя часа, в Москву... Как вы думаете, когда меня выпишут? Мне в середине августа надо вернуться в Ташкент. Хоть на карачках, хоть как.

— Поговорите с Еленой Ароновной. Она человек хороший.

— Хороший-то вроде хороший. Да больно суровый.

— К ней надо с подходцем. Главное, кратко выразить суть.

— Попробую. Мне бы за этот месяц чуточку подлечиться, хоть годик еще протянуть. И, может, за это время — кто знает? все-таки молодой организм!. — Ира поправится, а? Или нет? Как вы думаете?

— Конечно, конечно...

Вбежала сестра, покрутилась немного, исчезла. Опять стало слышно муху, которая с тем же упорством билась жужжа о стекло.

— Что-нибудь бы одно, — тоскливо сказала женщина. — Была бы она у меня красивой... А то ведь... Как ей жить без меня?

— Помилуйте! — воскликнула Нора. — Да мало ли некрасивых на свете! И еще какие бывают счастливые! И замуж выходят, и все.

— У Ирочки — горб, — сказала женщина. — И это я виновата, я ее уронила... На ходу задремала и выронила из рук.

— Как так на ходу? — удивилась Нора.

— Вот так! — иступленно вскричала она. — Кратко выразить суть! Иную жизнь, возможно, и выразишь в двух словах, а мою... Не могу я сейчас умирать, поймите! Рано мне умирать! Я прежде должна расплатиться!

— С кем?

— С дочерью!

— Расплатиться? Что за странное слово! — сказала Нора.

— Да, да. Настал мой черед. Было время, я ею спасалась, ею себя защищала, а теперь я должна защитить ее.

— Я что-то не понимаю.

— Где вам это понять? Что вы видели? А вот я, когда в тридцать седьмом забрали отца и мать, каждый вечер ждала, что придут и за мной. И совала нож под подушку... Живая не дамся! Да крепок у молодых первый сон, звонка не услышала, им открыли соседи, схватили меня еще сонную и повезли. Кстати, в том "черном вороне" (я больше таких не видела) были отсеки, вроде, как банные шкафчики, на одного человека, меня втолкнули, нажали на дверцу, заперли, а там уже кто-то стоял. Так мы и ехали с ним, дыша друг другу в лицо, в темноте. Кто это был, не знаю... А следовательно... Совсем попался мальчишка, носик точеный, статуэтка из терракоты, даже руки породистые. Эх, узнать бы, где он теперь, да плюнуть в гладкое личико! Долго я смаковала эту мечту: что я скажу ему, что он ответит, и как я плюну. Ведь что удумал! Приводят меня на допрос, а он говорит: "Я занят, встаньте в тот угол, за сейф". Я встала. А он так лениво поднялся и чуть его пододвинул. Но так, что мое плечо оказалось прижатым к печке. Надеюсь, вы угадали, что печка топилась? Это был раскаленный утюг! Я плакала, умоляла, потом потеряла сознание... Да что вы можете понимать? Ничего вы не понимаете! Для вас это сказки про бабу-ягу — жутко, но занимательно... Но все-таки это куда ни шло, принимаю, согласна! А вот на этапе... Я уже старая женщина, мне не стыдно признаться. Три уголовника... Словом, я понесла.

Я хотела себя убить, да мои товарки меня отходили и даже аборт не дали мне сделать: "Дура, оставь, ребенок — твое единственное спасение!" Я и оставила. А вы еще смеете спрашивать, как я ею спасалась! Ну, а теперь скажите, ответьте: имею право я умереть? И как в двух словах изложить все это Елене Ароновне? Мне хоть бы годик выклянчить у нее, всего один годик! Я же скромненько, скромненько... Лишку я никогда не прошу.

Нора молчала.

Вошла сестра, вынула у них у обеих иглы, отнесла в сторонку штативы.

— Как чувствуете? — весело спросила она.

— Прекрасно, — ответила Нора. — Очень бодрая кровь.

— А мне почему-то холодно, — тихо сказала женщина. — Даже зубы стучат.

— Реакция, — объяснила сестра. — Полежите немного, пройдет. Счас накрою вас одеялком.

— Холодно, холодно, — вся сотрясаясь шептала женщина. — Фу, ч-черт, как холодно...

КАПРИЗНЫЕ ДАМЫ

Вечером Нора уютно сумерничала в палате под легкое погромыхиванье вдали и пощелкиванье на ветру занавески, когда вошла Катя.

— Пришла проститься, — сказала она. — Завтра выпишываюсь.

Лицо у нее уже было нездешнее, городское. Его выражение было сегодня особенно безысходным, но и с оттенком ухарства, отчаянного удальства напоказ: где, мол, наше не пропадало! Словно тут, в больнице, среди своих, у Кати еще оставались шансы на жизнь, но вот она сама обрубилa концы и отчалила от их идиллической пристани.

В полутьме, как драгоценные камни в оправе, остро взблескивали ее подведенные тушью глаза, а лицо было снова намазано тоном, отчего оно вызвало в памяти Норы фаям-

ский портрет. Впервые Нора представила себе Катю не на фоне больницы, а дома, возлежащей на диванных подушках, с бокалом сухого вина в руке, в золотистом, под самое горло, платье и непременно с серьгами в ушах. С чего это Нора вообразила, что Катя напоминает курсистку? Из-за малярной кисточки на затылке? Из-за веснушек? Но сегодня она причесана гладко, строго, что в сочетании с подведенными на какой-то египетский, погребальный манер глазами придавало ей очень изысканный вид.

— О чем ты задумалась, Нора? — спросила она.

— Так, ни о чем...

— А тогда послушай, я принесла тебе в клюве одну мышь, — сказала Катя. — Вот она: у людей атрофия памяти. Никто ничего не помнит. Все стараются поскорее все позабыть. Дворяне — свое дворянство. Царские офицеры — свою офицерскую честь. Хлеборобы — коня, обычаи предков. Купец — свою лавку. Еврей, армянин, эстонец — свою национальность. Старуха — свою приходскую церковку. Интеллигент — свои убеждения. Все, что было главным для человека, самым для него дорогим, самым ценным — его стержнем, основой личности, то как раз и забыто, попорно. А память, ведь это опора нравственности, ее фундамент. Пока прошлое в нас живет, мы люди. А когда умирает, мы сразу — ничто, навоз! Почему так настойчиво вытравили, вытапывали в нас память? Чтоб превратить нас в саман! Строй из него, что хочешь, — ломом не разобьешь! Хоть и навоз, а держится крепко. Потому, возможно, и держится, что навоз! Это и есть моя мысль, Нора. Я до нее сегодня дотумкалась.

"Вот-те и дама", — подумала Нора.

— Интересно, — сказала она. — Я ведь тоже всегда стыдилась своего воспитания — может быть, лучшего, что во мне есть. Старалась подделаться к речи простых людей, к строю их мыслей. Да только не замечала, что и они порой лишь играют навязанную им роль. Все мы были статисты в каком-то вселенском спектакле. Но я играла всерьез, а они... Они надо мной потешались. И вот, что я сейчас поняла: у каждого на земле свое назначение, и никто, никто не должен себя сты-

даться. В том числе, и интеллигенты... А мы предаем свою миссию... Мы позволяем творить из нас саманное тесто...

— Именно... — проворчала Катя.

Они посидели минуту в молчании. Залопотала, резко хлопала о край подоконника занавеска.

— Да! — вдруг сказала Катя. — Чуть не забыла... Аурелиу слег. Зайди-ка к нему. Он тебя ждет.

— Уж ты скажешь...

— А вот и скажу. Черт знает, какой кошмар, что он умирает... Из вас получилась бы славная парочка. Честное слово, я даже завидую.

— Не завидуй, — сказала Нора, — все так сложно у нас... А что с ним?

— Что, что... Печень.

Занавеска взлетела, надулась парусом, и в палату пахнуло свежим прохладным ветром. Застучал по стеклу дождь.

— До чего же скоропалительно здесь возникают романы, — сказала Катя, — ну, будто в больнице живут по иному, не нашему времени! По Эйнштейну, что ли? Как на ракете, летящей к Марсу или Венере. В два-три дня промелькивают целые фазы любви: миг — на пристрелку взглядов, час — на галантности, а уже к вечеру стадия робких прикосновений перерастает в пожар, в страсть, которая длится месяц... Аурелиу сейчас пребывает в зените.

— Откуда тебе известно? — спросила дрожащим голосом Нора.

— Господи Боже! Да ты у него с языка не сходишь! — воскликнула Катя. — С этой темы его не собьешь, я пыталась. Распустит глазищи в разные стороны и — Нора да Нора...

Сверкнула молния, и лицо Кати высветилось контрастно и страшно, как негатив.

— Правда, не поручусь, — язвительно прозвучал уже в темноте ее голос, — что крылышки у него не из воска и что в ближайшем будущем они не расплавятся!

“Она влюблена! — такой же молнией сверкнула догадка у Норы. — В тот вечер, у телевизора, она говорила о нем... Что есть, мол, один человек, для которого... И все-таки она

дама. Злая дама со скифскими золотыми серьгами в ушах!”

— Ну, хватит трепаться, — сказала Катя, словно подслушав ее мысли. — Я обещала тебя пригнать. Наводи марафет. Ты что? Неужели так и попрешься? На кого ты похожа? Дай-ка расческу... Вот так. Челочку... Очень мило. Когда ты отсюда выйдешь, я из тебя красавицу сделаю. Подарю тебе черный свитер, сварганю красную юбку — будь-будь!.. Ну, что ты стоишь? Он ждет тебя... Ах, какой ливень! Роскошный фон для свидания. Ничего не смыслит! Такой сухарь...

— Катя, ты прелесть, — сказала Нора.

— Ну да, прелесть, — огрызнулась она.

Нора медленно шла коридором мимо длинного ряда окон, о которые, как о приморскую дамбу, плескались волны дождя. Внезапно все они разом вспыхнули фиолетовым светом и так же разом погасли.

В мужской десятой палате горела яркая лампочка. Койки стояли тесно, и под самым окном, вдоль батареи центрального отопления, — правда, сейчас холодной, — лежал Аурелиу. Окно за ним было ярко блестящим и синим, по стеклу неровными серебристыми струями неустанно бежали капли. Аурелиу раскладывал пасьянс, близоруко нагнувшись над табуреткой. Остальных мужчин не было: вероятно, смотрели футбол, который сегодня передавали по телевизору.

— О, наконец, — сказал Аурелиу, откинувшись на подушку.

Нора присела к нему на кровать.

— Что с тобой? — спросила она. — Тебе плохо?

— Теперь уже лучше, — он улыбнулся. — Тебе идет такая прическа.

— Это Катя.

— Знаю. Ты бы так не сумела... Нора, душа моя, — он взял ее за руку. — Я — негодяй.

— Что за глупости!

— Да, негодяй. Оъявленный. С первой минуты, едва мы с тобой познакомились, с той пресловутой монетки, я вел себя, как соблазнитель, как самый последний пошляк. Мне стыдно. Прости меня.

— Так ты это все нарочно? — спросила упавшим голосом Нора.

— Почти. Это я так интересничал... Увидел наивное существо, ну и... Господи, одной уж ногой в могиле стою! Господи, мало мне прежних грехов! И тех-то еще... Господи! Нора, родная, прости.

Он отпустил ее руку и спрятал лицо в ладонях.

— Не верю, — тихо сказала она.

— Чему ты не веришь? — он даже привстал на локтях.

— Что ты не любишь меня.

— Как сестру! — отчаянно крикнул он. — Как сестру!

— Нет, — помотала она головой.

Откуда была в ней эта уверенность? В ней, с ее комплексами? Но его она знала уже хорошо. Если бы он ее не любил, он не стал бы этого отрицать. Нет, не стал бы. Он бы ее пожалел.

Аурелиу откинулся на подушку.

— Как сестру, — повторил он сквозь зубы.

Удивительно! Когда он лежал в постели, он казался выше, моложе, даже красивее. Он отвернулся, глядел на окно, и Норе был виден его высоченный лоб, еще увеличенный глубокой залысиной, скула и впадина бледной щеки, небольшое ухо, уголок рта, подбородок, прямая линия шеи — и все это, каждая черточка его облика была европейской, полной изящества без изнеженности — вплоть до формы его руки, его пальцев, длинных, но сильных и твердых.

— Аурелиу, — сказала она. — Я тоже хочу повиниться. Про Александров я просто так сегодня болтала. Потому и болтала, что знаю: невысказано это, невыполнимо.

— Да-да, — с готовностью закивал он.

— Мне бы сейчас сказать, что и я тебя тоже, как брата, и прочее... Но не хочу. Я честнее тебя. А невысказано, потому что — куда же детей? Да и мужа?.. Но я тебя не покину. Можешь придумывать, что угодно, если так тебе легче. Я все равно тебя не покину.

Аурелиу затрясся и снова спрятал лицо в ладонях.

— Чего ты? — сказала она. — Ведь все хорошо.

Он не ответил. Тогда она развела его руки в стороны — лицо было мокрым.

— Не надо, не злись на себя, мой милый. Ты дрался, как лев.

Она нагнулась и приложила его ладони к своим щекам. А он, зажмурившись, отворачивал голову то туда, то сюда и бормотал:

— Что она делает, неразумная, что она делает?

Вывав внезапно руки и приподнявшись, Аурелиу наискось полоснул ее по лицу черным взглядом — как черным клинком.

— Глупая, взбалмошная ты женщина! Пойми, наконец, что я не имею права!

— Имеешь, — сказала она.

— Не имею!

— Имеешь.

— Нет! Нет! — закричал Аурелиу и, медленно-медленно к ней потянувшись, дотронулся до ее рта горячими, тугими губами.

— Кончено, кончено, — приговаривал он между вдохом и выдохом, — теперь мы погибли, кончено!

Потом, побледнев, он лег на спину.

— Нора, — сказал он, прикрыв глаза. — Я считаю своим неременным долгом...

— Молчи, — прервала она его.

— Я считаю долгом сказать...

— Не желаю слушать!

— Что через месяц, самое позднее — через два...

— Аурелиу!

— Я сказал. Беги, Нора! Еще не поздно. Беги. Сломая голову, не оглядываясь!

— Слушай, тебе не стыдно?

— Нисколько. У русских есть выражение: чужой век заедать... Это бессовестно, это гнушно.

Стало тихо в палате. Только ливень шумел за окном.

— Ладно. Тогда ответь, Аурелиу, — Нора немного поколебалась. — Мы с тобою... одно?

Он молчал.

Она знала, что это — запрещенный прием, но минута была решающей, поворотной.

— Ты, мама и брат были одно существо... А мы? Скажи честно. Загляни в себя и скажи.

Аурелиу молчал. Он был бледен, на лбу его выступила испарина.

— Не хочу отвечать, — выдавил он наконец.

— Но это и есть ответ, — быстро сказала Нора. — А значит, ты не заедаешь мой век, он у нас теперь общий... Понял? — Она склонилась над ним и прошептала в самое ухо: — Когда-нибудь, не сейчас, ты меня еще поцелуешь?

Аурелиу почти оттолкнул ее и потряс кулаками:

— О, легкомыслие!

В этот момент мужчины, шумно переговариваясь, толпой ввалились в палату.

— Смотри-ка, он тут амурничает! — воскликнул один.

— Больной-больной, а время зря не теряет!

— Молодец, так и надо, правда же, девушка?

— Ну, объясняйте же ваш пасьянс, — улыбаясь, сказала Нора. — Как он там называется?

— "Капризные дамы", — только и покачал головой Аурелиу.

— Вот и давайте.

Он что-то начал ей толковать, но слишком уж явно было, что Нора ни слова не понимает да и не слушает, и Аурелиу смешал карты.

МОЛИТВА

Отныне они и часа не могли прожить друг без друга. Едва выдавался просвет между врачебным обходом, едой, уколами и облучением, Нора летела к нему в палату. Аурелиу прочно уложили в постель: к вечеру у него поднималась температура, по временам он страдал от острых приступов боли, но переносил их стойчески, и даже голос у него не менялся, и улыбка не сползала с лица, так что никто, кроме Норы, не понимал, как ему худо. Но она это знала не только лишь потому, что видела, как внезапно бледнеет его напряженно улыбающееся

лицо, а еще и по собственным ощущениям: ей тоже делалось дурно, на лбу выступал пот, ныло, сосало где-то под ложечкой. "А мы и впрямь превратились в одно существо", — удивлялась она. Однако, чтобы его не тревожить, вслух об этом не говорила. Но Аурелиу, по-видимому, догадывался об ее состоянии, потому что, едва его боль отпускала, он спрашивал:

— Как ты, девочка?

— Хорошо, а ты?

— И я хорошо, — улыбался он.

Мужчины, вдоволь над ними позубоскалив, все же старались дать им побыть вдвоем. Это почти не меняло их поведения. Они продолжали тихо и мирно беседовать, разве что взявшись за руки. Аурелиу подробно расспрашивал ее про детей, про Илью, вникая в каждую мелочь их быта, их отношений, и говорил: "Я все хочу знать про тебя, все до капельки", и столь же охотно и просто рассказывал о себе.

Иногда он просил ее что-нибудь почитать и, так как единственной книгой, какую она прихватила в больницу, был том Толстого, то Нора читала "Хаджи Мурата", и он кивал и хмыкал от удовольствия как раз в тех местах, которые ей особенно нравились.

А он прекрасно знал французских поэтов и мог часами шпарить ей наизусть из Рембо, Верлена, Бодлера:

C'est la Mort qui console, hélas! et qui fait vivre;

C'est le but de la vie et c'est le seul espoir...

нараспев читал он.

У нее было детское знание языка и не слишком богатый словарный запас, смысл стиха от нее порой ускользал, зато так приятно было внимать полузабытой французской речи, ей казалось, что это отец, сквозь годы и годы, обращается к ней с того света, она просила: "еще, еще!", и он начинал:

Les sanglots longs des violons...

И Нора подхватывала:

Издали лется тоска скрипки осенней...

Но бывало — от одной, как будто незначащей фразы, от одного чуть более долгого, более темного взгляда, от легкой

дрожи в сплетенных пальцах — Аурелиу и Нора, словно в помрачении ума, кидались друг другу в объятия и целовались с таким неистовством, с такой торопливой жадностью, будто их вот сию минуту схватят за плечи и грубо растащат в разные стороны.

Оттого ли, что в палату в любой момент мог кто-то войти, или же потому, что в этой больнице люди и правда, как говорила Катя, живут по законам быстротекущего времени, а может быть, потому, что и Нора и Аурелиу знали, что у этой печальной любви нет будущего, но поцелуи их были горьки, и примешанный к плотской страсти полынный привкус лишь придавал ей особое благородство. Как на военных проводах — вокзал, теснота на перроне, шум, гам, толкотня, электрические часы неумолимо отмеривают минуты, прыгает стрелка, и надо успеть сказать что-то самое главное, и напутствовать уходящего, и обнять, да так, чтобы обоим запало в сердце и память (быть может, уже навечно!), и просто, припав на плечо, поплакать... Вот все это, вместе взятое, незримо присутствовало в их жгучих, отчаянных поцелуях.

Как-то вечером, возвращаясь после отбоя в свою палату, Нора зашла в умывальную — сполоснуть перед сном лицо. Не зажигая света и оставив полуоткрытой дверь в коридор, она прошла к дальней раковине, рядом с которой была на стене сушилка, и пустила воду. Вдруг до нее донеслось чье-то сдавленное рыдание. Она прикрутила кран, прислушалась и спросила: "Кто тут?" Никто не ответил. Решив, что ей показалось, Нора принялась умываться, потом включила сушилку, и сквозь ее унылое завыванье, теперь уже явственнее, пробился не то всхлип, не то стон. Нора нащарила выключатель, зажгла свет, огляделась — нигде никого. А между тем, она больше не сомневалась, что тут кто-то есть. Она подошла к двери, отвела ее от стены и там, в углу, увидела сидящую на корточках Томку. Та смотрела на нее снизу вверх блестящими, как у зверька, затравленными глазами.

— Ты чего? — спросила Нора, тоже опустившись перед нею на корточки.

— Чего, чего... — окрысилась Томка. — Спина болит, вот чего. Копчик... Подыхаю, видать. Не иначе — саркома.

— Да погоди ты — саркома! Что врачи говорят?

— На пушку назначили. С завтрава... Да чего эта пушка поможет, когда я, Нора, гнию. Гниют мои косточки, чувствую я, как они, одна по одной, у меня там сзади отваливаются!

— Ну что ты городишь, Томка!

— Точно тебе говорю — отваливаются! Вот как у кошки моей. Приблудилась зимой и — глянь! — хвост у нее по кусочкам отпадывает... Соседка — в одну дуду: отморозила, мол, а я теперича думаю, может, у кошки саркома была.

— Жива твоя кошка?

— Живехонька... Только что без хвоста, а так-то — гладкая стала, чертяка!

— Ну, видишь? Значит, и правда она его отморозила... Пойдем-ка в палату.

— Но-ора, — взмолилась Томка, — Но-ора, а что ж так спина-то болит? Гниет ведь она у меня, я уж вроде и запах чую... Отпадывают мои косточки одна по одной, я и руками щупала — жидко там у меня, горячо, и хребта внизу, похоже, что не осталось... Потрогай вот, коли не гребуешь.

Она привстала, задрала халат, приспустила трусы, обнажив молодое, здоровое, белое тело.

— Тутотка, — показала она рукой, — жми, не бойся, буду терпеть. Есть косточки или нет? Только не ври... Ай, что ж ты, милая, больно!

— Да вон же он, позвонок, — честно щупала Нора. — И еще, и еще... Цел хребет у тебя, не сгнил.

— А врешь, — недоверчиво обернулась к ней Томка. — Щупай-ка лучше.

— Давай руку, — сказала Нора. — Это что тебе? Позвонок? Теперь выше... Ну, что?

— А горячо почему? — спросила, опустив халат, Томка.

— Больное же место, ну и горит.

— Как этот, хурункул там у меня: дергает, рвет... Погляжу, если пушка поможет, а нет — Мишаня дал мне зарок: отравить.

— Господи, Томка, молчи.

— Чего молчать, Нора. Отравит, и все. Я б тоже ему не позволила заживо гнить... Ты не думай, он у меня золотой. А только надо жалеть один одного, на то мы и люди.

Они погасили свет и побрели, обнявшись, в палату. Томка передвигалась с трудом. Чувствовалось, что каждый шаг дается ей с болью. Но она уже не стонала, не жаловалась — терпела без звука.

Нора легла и задумалась о данном Мишаней зароке: отравить ненаглядную свою Томку, лишь бы ее оберечь от бессмысленных мук. А сам-то что же — на каторгу? Ну, ясно, что это пока слова, а до дела дойдет, так он, скорей всего, не решится... И все-таки. Могла бы Нора, пускай из самых гуманных соображений, убить Аурелиу? Даже страшно подумать. А если б она его видела в жутких предсмертных корчах? А если бы он просил, умолял ее: "Нора, убей!?" Нет, заранее тут ничего не решишь. Надо дойти до последней, конечной черты, как дошел, видать, этот дюжий парнище (и ведь дойдешь, коль жена начнет уверять, что гниют позвонки!) — тут уж, пожалуй, рухнут любые установления, все нормы и правила побоку, и человек, оставшись один на один с собой, повинуется только голосу совести или наитию свыше.

Лишь Смерть утешит нас и к жизни вновь пробудит,

Лишь Смерть — надежда тем, кто наг, и нищ, и сир...

Слезы залили Норе лицо. "Господи, — как в незапамятном детстве, сложила она ладони в мольбе, — не оставь меня, Господи всеблагой, укажи, научи!"

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Этот день был полон событий и потрясений. Для Норы он начался тем, что ранним утром, еще до обхода врачей, нагрянула Тата.

— Папа уехал в командировку, — сообщила она.

Несколько дней Илья был тих и задумчив, подолгу бродил в лесу, не работал, а вчера разразился длинной сердитой речью, смысл которой сводился к тому, что ему надоело это растительное существование, что он не желает жить “применительно” к мамочке, что пусть кто угодно играет при ней роль “мужа-мальчика, мужа-слуги”, а ему недосуг, и завтра же он уезжает... Куда? Хоть к дьяволу, к черту в пекло — все лучше дачного омерзительного безделья, невыносимого для него, как и для всякого честного человека, если он окончательно не заплыл желтым салом!

Тут он начал хватать с веревки свои рубахи, воротнички и манжеты которых еще не успели высохнуть после стирки, под громкие lamentации тети Домны скомкал и запихнул их все в саквояж, заявив, что он — не безрукий и сам прекрасно сумеет их выгладить, что лично ему — домрабы не нужны, что он — не Нора и не какой-нибудь ихний там Пастернак, привыкший “выковыривать изюм певучести из жизни сладкой сайки”, что он, Илья, поедет в тайгу, в пустыню, на целину, на строительство газопровода, нового химкомбината или в совхоз, к трудовым людям, к своим братьям по духу, и там, среди них, наконец-то глотнет живой, а не мертвой воды.

После чего, никому не сказав “до свиданья” и ни разу не оглянувшись, он торжественно удалился под звук фанфар, которые, вероятно, трубили в его ушах, но поздним вечером, уже в темноте, зачем-то вернулся на дачу, веселый, с командировкой от “Совхозной газеты” в кармане, с тремя дынями и огромным арбузом в авоське.

— Завтра лечу в Ростов, — объявил он, — а сейчас мы устроим пир, будите Антона.

Ребенка подняли, все на ночь глядя наелись дынь и арбуза, а утром, когда проснулись, Ильи уж и след простыл.

— По правде сказать, мы рады, — закончила Тата. — Хоть чуточку от него отдохнем. Знаешь, мама? Он давит. Он так на нас давит на всех! Даже, когда не читает нотаций. Да и ему ведь полезно слегка развеяться, верно?

— Я думаю, да, — ответила Нора.

Они крепко расцеловались, и Нора заторопилась обратно, чтобы поспеть к обходу.

Вот тут-то и стало известно, что Алё выписывают. На днях ей сделали операцию — под местным наркозом, не радикальную. Вырезав опухоль, грудь девчонке спасли, и теперь отпускали домой, приказав являться в больницу на облучение. Аля сложила вещички, помчалась сначала за справкой к сестре, потом — на склад за одеждой и, когда возвратилась в палату, все так и ахнули, до того она была хороша.

— Ну, чисто — Колдунья!.. Какой материальчик-то, штапель? — невинно спросила Томка, щупая грубыми пальцами подол голубого нарядного платья.

— Ты что это, Томка? — даже обиделась Аля. — Штапель!.. Кто его нынче носит? Джерси!

Томка поджала губы.

— Откуда нам знать? Мы — люди простые, не то что...

— Ладно вам, девки, ссориться!.. Ты телефончик оставь, не забудь, — сказала с постели Паня, которая все еще маялась с какими-то осложнениями.

Женщины быстро схватили бумажки — записывать номер. Аля продиктовала. Одна Этери не шелохнулась — упорно смотрела в окно. Лицо ее было сегодня совсем расплощенным: грелка и грелка. Разве что только не булькало.

Роза пошла с Алей — проводить ее до ворот, но уже через две-три минуты влетела назад в палату с выпученными глазами:

— Бабы, бабоньки! Верушка померла!

— Брось ты! — ахнула Томка.

— Вот энто история... — Паня всплеснула руками. — У ей же не рак!

— Мало-мало ошибку давали: искали в желудке, а рак-то вон куда, в печень залез, — ответила Роза.

— О-ой, мамочки родные! — воскликнула Паня. — Видать, потому и желчь у ей разлилась! Да-а... Вот тебе и тип-топ у Верушки нашей!.. Когда ж она — седни?

— Да всего полчаса! Пока мы тут телефончик записывали... Ой, до чего же кошмар! Иду, а ее как раз ширмами загораживают! — Роза была вне себя.

Баба Надя, которая все это время заплетала свои косички, расстелив для опрятности на коленях чистый платок, аккуратно страхнула его, повязалась и осенила себя крестным знаменем. Все помолчали.

— Побечь, Карловне доложить, — встрепенулась Томка.

— А может, не стоит? — с сомнением сказала Нора. — Зачем ее волновать?

— Ну как же! И ей ведь, поди, интересно, ты что!

Иоганна Карловна до сих пор находилась в послеоперационной: силы ее не только не восстанавливались, а как бы даже и убывали. Она осунулась, посерела лицом, приумолкла. Что-то было в ней замороженное... Нора проводывала ее, но Иоганна Карловна оставалась и к посещениям, и к любым разговорам глубоко безучастной. "Я закрою глаза, хорошо? — говорила она устало. — Не думайте, я не сплю, я вас слушаю, слушаю..."

Но она не слушала. Не то, чтоб спала, — нет. А словно парила где-то среди облаков, далеко от грешной земли.

— Ладно, ты давай к Карловне, а я к Берте, — вскочила и Роза. Она, конечно, жалела Веру Георгиевну, но слишком казалось обидно так скоро расстаться с ролью главного информатора.

Что касается Берты, то она давно вернулась в палату. Но от первых же сеансов рентгена у нее получился сильный ожог, который сама она объясняла так: "У меня не кожа, а что-то особенного, настоящий пэрсик!" Она без конца приставала к сестрам, чтоб они ее чем-нибудь смазали, но потом принималась жаловаться, что от цинковой мази у нее все чешется и свербит, от рыбьего жира ее просто "в ригу тянет", а белье уже до того заскорузло и провоняло, что это — нечто! "Разве у нас рубашки? — ныла она. — Ну, я вас спрашиваю! Это же не рубашки, это дерюги!" И, вызывая величайшее презрение Этери, разгуливала по палате в трусах — таким толстым розовым чудищем со свисающей на живот единственной грудью. А как-то ночью поперлась в таком непотребном виде в уборную.

Поскольку никто не хотел ее больше слушать, Берта спускалась во двор, подсаживалась к незнакомым больным, роптала и хлюпала носом. Сегодня она исчезла сразу же после обхода и даже не соизволила попрощаться с Алей.

Томка и Роза ушли. В палате остались Паня, Нора, Этери и баба Надя. Паня тихонько плакала, отвернувшись к стене. А баба Надя лежала с таким просветленным лицом, будто вслушивалась в заупокойное церковное пение. Норе даже казалось, что она ему подпевает — слабеньким, ломким, старушечьим голоском. Этери смотрела в окно.

Первыми возвратились Роза и Берта.

— Ну, как вам нравится? — закричала Берта, с размаху плюхнувшись на кровать — да так, что загудели пружины. — Этому нет названия! Зачем тогда было ее поздравлять? Только ввели больных в заблуждение! Если у них и поздравленные умирают, как мухи, то что будет с нами, ну я вас спрашиваю? Со мной, например?..

Ей не успели ответить, потому что в палату вошла Томка. Она осторожно прикрыла дверь и осталась стоять, крепко вцепившись в латунную ручку. Томка безмолвствовала, но что-то было такое пришибленное во всем ее облике, что все усталились на нее, не решаясь задать вопроса. Берта, и та присмирела, выкатив водянистые голубые глаза, и даже царственная Этери повернула к ней голову. Томка напоминала деревенскую девочку, заблудившуюся в многолюдье столицы. И перепуганную до немоты.

— Карловна... — наконец, прохрипела она.

— Что? Что? — завопили со всех сторон.

— Без сознания Карловна наша... Кончается! — ответила Томка, сползая вдоль двери на корточки.

Вот так же она сидела тогда в умывальной.

“Люблю, чтоб все наши были на месте”, — вспомнила Нора слова старой немки.

Сколько же их осталось теперь? И кто следующий?

РЮКЗАК

— Аурелиу, меня выписывают, — сказала Нора, подсев к нему на кровать.

Он отложил книжку, снял очки и посмотрел на нее своим темным, косым, обнимающим взглядом.

— Ты расстроена, детка?

— Ничуть, — сказала она.

— Вот и умница.

Нора ему улыбнулась. Однако лицо ее, видимо, было не слишком веселым, потому что сосед Аурелиу, дядя Колян, сказал:

— Вы же будете приезжать на рентген.

— Верно, — кивнула Нора. — Аурелиу, я буду сюда приезжать.

— Каждый день, — сказал он. — У нас еще много дней впереди.

— Конечно, — сказала она.

— Тебе будет трудно ездить с дачи, — подумав, сказал Аурелиу. — Автобус, метро, пересадки... Четыре часа туда и обратно.

— Три, — поправила Нора.

— Три с половиной, — сказал он.

— Зато там воздух, на даче. Я буду спать на веранде. А тут ужасная духота.

— Почему духота? Я ночью приоткрываю окно и дышу, — сказал он.

— Э-э, не шибко у нас надышишься, с этим Иван Ивановичем преподобным, — проворчал дядя Колян. — Живо скандал устроит, как вон вчера.

— Это который Иван Иванович? — спросила Нора.

— Да вы его знаете, с горлом-то. Молодой, а капризный. Чуть маленько сквозняк, сразу в бутылку лезет.

— Бедный юноша, — сказал Аурелиу.

— Вы бы лучше себя пожалели, — сердито заметил дядя Колян. — А то, я смотрю, вы какой-то немного чудака, ей-Богу!

— Ну что вы, — сказал Аурелиу.

— Честно.

Норе стало смешно.

— По-вашему, он немного чудак?

— Болельщик, — буркнул дядя Колян. — И кому это надо? Совсем лишнее. Только нервы трепать.

— А сами-то, сами! — сказала Нора. — И вы ведь тоже чудак, не хуже его. Два сапога — пара.

Дядя Колян даже крякнул с досады.

— Ни к чему вы меня приплели. Я серьезно, а вы пустое болтаете...

— Ничего не пустое, — сказала Нора.

Дядя Колян был небрит, над круглыми желтыми глазками воинственно, как у филина, топорщились кустики седых кудлатых бровей, а загнутый острым крючком нос лишь дополнял его сходство с угрюмой ночной птицей. Однако же Нора редко встречала людей, чья внешность так не вязалась бы с их характером. Он вставал среди ночи, поил больных из поильничка, укрывал всех подряд одеялами, днем бегал за передачами, приволакивал, когда надо, каталку, подсовывал судна и не гнушался их выносить. Но при этом он постоянно ворчал, брюзжал и пыхтел, словно всякую благодарность хотел пресечь у людей еще в самом зародыше.

— О-ох, чтой-то в сон кидает, — нарочито зевнув, сказал он. — Пойду-ка провеюсь. — И пошел из палаты, чуть-чуть лениво и вперевалочку, будто он просто так, со скуки, уходит, а вовсе не потому, что желает их оставить наедине.

— Симпатяга, — сказала Нора.

— О, это такой очаровательный человек... И знаешь, где он работал? Смотрителем в зоопарке, в террариуме, а как он рассказывает про змей... О чем это я? — перебил себя Аурелиу. — Какие-то змеи... Нора, Нора, душа моя, — он протянул к ней руки.

Она упала к нему на грудь и думала, что расплачется, но слез не было. Гулко стучало ей прямо в висок его сердце. Аурелиу перебирал ее волосы и молчал.

— Я бы хотела тебя унести, — глухо сказала она. — Взять, взвалить на плечо и нести. Далеко-далеко...

— Отличную ты отводишь мне роль, — сказал он. — Как раз для мужчины.

— Я бы выходила тебя. Честное слово! А потом, если уж так тебе нужно, носи меня.

— Ты умеешь любить, — сказал Аурелиу.

— Да.

— Я тоже умею.

— Я знаю, милый.

— Мы с тобой одно существо.

— Да.

— Ну, а теперь иди, — он потрепал ей затылок. — Тебе же надо собираться.

— Еще две минутки, — сказала она.

Слез не было.

— Как ты поедешь? — спросил он. — Одна, в такую жару, в толкотне... Ты ведь отвыкла от той жизни. Будь осторожна.

— Да, я отвыкла. Мне даже кажется иногда, что там и жизни-то нет никакой. Вся здесь.

— Вздор! — вскричал Аурелиу. — Вздор! Не вбивай себе в голову.

— Постараюсь, — вздохнула Нора. — Но вообще-то я себя буду чувствовать, как разведчик в стане врага. Все чужие кругом, говорят на чужом языке...

— Только первое время, только вначале, — сказал он. — Потом ты привыкнешь, войдешь в колею.

— Но я другая, пойми, — сказала она. — Я больше не прежняя, я другая. Я здесь много чего передумала. Я, если хочешь знать, перелопатила к черту всю свою жизнь!

— У тебя дети, — сказал Аурелиу. — Ты это помнишь?

— Помню. А вот все остальное...

— И долг.

— Нет у меня никакого долга! Хватит, довольно, сыта по горло! Почему с тех пор, как я себя помню, я все время что-то кому-то должна?

— Не кому-то, родная. Себе.

— Что я должна, что? Я задолжала себе только счастье!

— И все-таки ты должна донести рюкзак, — мягко сказал он.

— Что?

— Помнишь, ты говорила про маму? — он улыбнулся. — “Каждый должен сам нести свой рюкзак”. Замечательно сказано!.. Он у тебя тяжелый, я понимаю. И ты невольно с собой хитришь иногда. Тебе хочется незаметно его подменить. Налегке-то ходить все равно не умеешь... И вот ты готова взвалить на плечи меня. Я тоже, конечно, не перышко... Но тот рюкзак, я имею в виду настоящий, куда тяжелее! В нем все твоё прошлое, детка. Твоя душа, твои мысли... Люди, которых ты видела. Их истории, их страдания. Ты должна это все донести.

Печально и нежно он обнимал ее своим удивительным взглядом. Это было прощанье.

— Милый, любимый, голубчик мой, — наконец заплакала Нора. — Я и два... я и два рюкзака могу...

Аурелиу сжал ее пальцы.

— Иди. Уходи.

— До завтра, — плача, сказала она.

— До завтра. Иди.

Аурелиу улыбался.

СИНЕЕ НЕБО И БАБОЧКИ

Нора знала одного человека, имевшего странный заскок: он почему-то боялся дверных порогов. Дойдя до двери, он долго переминался с ноги на ногу, прежде чем сделать решительный шаг.

Вот так и она: добрела до ворот больницы, оглянувшись, из окна их палаты кто-то махал (наверное, Роза), она тоже махнула, потом поискала окно Аурелиу, не нашла (слезы стояли в глазах) и опять с тоской посмотрела на улицу. “Не хочу я туда”, — отчетливо подумалось ей. Шли люди, звенел трамвай, промчалась машина...

По аллее (сколько по ней было хожено!) гуляли больные в синих халатах с цветами (милые наши халаты), Берта крик-

нула ей со скамьи: "Уходишь? Счастливо!" Счастливо... Что делать? Надо идти.

Миновав проходную, она поплелась вдоль ограды. Куда она шла, зачем? Ее жизнь осталась здесь. Давно ль эти люди в пестрых халатах казались ей прокаженными? Теперь никого в целом свете роднее не было.

Вдруг, будто вспомнив о чем-то, она повернула назад. Украдкой, словно преступница, Нора шмыгнула в ворота. Потом чесанула к подъезду, стараясь держаться (чтоб не увидели сверху) ближе к стене корпуса. На бегу скользнула взглядом по моргу (уютный, в общем-то, домик, обвить бы его еще граммофончиками!). Перехватывая руками перила, взлетела по лестнице. На этаже, стыдясь знакомых больных, прошла с опущенной головой к десятой палате.

Аурелиу стоял на коленях и смотрел с кровати в окно. По-видимому, он не заметил, как Нора вернулась: взгляд его был обращен к проходной. Он стоял в смиренной позе блудного сына с картины Рембрандта, и первое, что она увидела, были две его бедные, жалкие пятки.

— Аурелиу! — тихо сказала она.

Он обернулся. Неузнаваемо перекошено, смято было его лицо. Она подошла, села рядом. Он не обнял ее, ничего не сказал. Они не дотронулись друг до друга и пальцем. Посидели в молчании минут пять, потом она встала.

— Что тебе привезти? — спросила она, будто за этим и возвращалась.

— Что хочешь.

— Ягод, — сказала она.

— Все равно.

— Или творог.

— Прекрасно.

— Я придумаю что-нибудь.

— Спасибо.

— Я пошла, Аурелиу.

— Да, — кивнул он.

— Не смотри в окно, ладно? А то это просто невыносимо.

— Не буду.

— Ты сейчас что собираешься делать?

— Не знаю, — ответил он.

— Ложись.

Он послушался, лег, натянул на себя простыню.

— Аурелиу, — сказала она.

— Что?

— Ничего. Я пошла.

Он не ответил. Не улыбнулся. Даже не посмотрел на нее. Куда он смотрел?

...А в метро ее поразило кишение толп, точно какой-то безумец разворошил, раскидал муравьиную кучу. Нора едва-едва втиснулась в поезд. Ноги ее не держали, голова кружилась, и все-таки неудобно было кого-нибудь попросить, чтобы ей уступили место. Выйдя из поезда в центре, Нора немножечко посидела, потом побрела переходом до эскалатора, а спустившись, опять посидела, впрок набираясь сил. Она пропустила несколько поездов, затем ринулась вместе со всеми в вагон. Свободных мест не было. Качаясь, закрыв глаза, она схватилась за поручень, но тут какая-то женщина чуть подвинулась и сказала:

— Садитесь, гражданка, я вижу, вам плохо.

На "Соколе" Нора вышла и, словно в беспамятстве, побрела, увлекаемая толпой, по туннелю, но лишь, когда одолела лестницу, поняла, что стоит на другой стороне проспекта. Пришлось проделать обратный путь, снова спускаться и подниматься.

К загородному автобусу тянулась очередь длиной метров в сто. Пекло солнце. Сесть было не на что. Легкая сумка оттягивала ей руку. Влажное платье прилипло к потной спине. В глазах летали не то что мушки, а какие-то длинные черные загогулины. Нора не влезла ни в первый автобус, ни во второй. Но даже и в третий не стала рваться, чтоб не стоять битый час на ногах. Зато уж в четвертом Норе досталось местечко рядом с открытым окном и в тени, и встречный ветер ополаскивал лоб, сердце больше не колотилось.

Автобус неся мимо полей, прудов и лесов, на остановках пахло, вперемешку с бензином, нагретой листвой и травой,

мелькали ромашки, лиловые короставники на обочинах, иногда полыхали целые озерки огненных мелких гвоздик. Но вот и Петрово-Дальнее, поворот к Степановскому, подступающий к самой дороге лес, прохлада, запах хвои и глубокая черно-зеленая темень. "Как хорошо", — с удивлением подумала Нора.

В Степановском она уже бодро сбежала крутой тропинкой к ручью. Обрызгала шею, лицо, отдохнула на камушке перед резво бегущей в зарослях коричневатой водой, потом начала взбираться по склону оврага к даче.

Первым ее заметил Антон.

— Мама! — отчаянно звонким голосом крикнул он.

И вот к ней навстречу бегут, размахивая руками, все трое — и он, и Тата, и тетя Домна.

— Мама!

— Родные мои!

Ее подхватили, отняли сумку, почти донесли до дому. На чистой терраске блестели только что вымытые полы, в пышном букете из дягилей и блеклых, уже белеющих васильков жужжала пчела, на фанерке лежало раскатанное для вареников тесто.

Нора села на стул и сбросила с ног туфли. Блаженно было касаться босыми ступнями прохладного влажного пола. Радостно было смотреть на детей. Антон был взволнован, и, как всегда, его возбуждение сочеталось с неловкостью и замешательством. Он раскраснелся, глаза у него сияли, а слов он найти не мог и, сидя на низкой скамеечке, неотрывно смотрел на мать.

— А... а... а... у нас сегодня вареники с вишнями! А еще у меня рука похудела, гляди! — вытянул он худую и бледную руку, — потому что была под гипсом, а доктор... ну, мам, ты не слушаешь! а доктор сказал, что она... Тата, как? Что она потом придет в норму... Мам! А Тата мне про Бульку читала... А как это "в норму", ну, мам?! Почему ты не слушаешь?

Нора, и правда, не очень вслушивалась, потому что все успела заметить сама: и похудевшую руку, и то, что будут вареники, и даже раскрытую на рассказе про Бульку книгу

Толстого. То, о чем говорил Антон, ей было важно знать, но еще важнее было смотреть на него, упиваясь его голосом, его загорелой, здоровой рожницей, каждой веснушечкой на его коротком носу и щеках.

— Ты весь зарос, сынок, надо постричься, — сказала она.

— Вот ты всегда так... Тебе про одно, а... а ты про другое!

— сказал он обиженно, однако, даже обида его так светилась счастьем.

— Поди сюда, Тошка, — позвала она.

Он встал, подошел, но не прямо, а как-то боком, смущаясь. Она притянула его к себе, обхватила его костистое, мальчишечье тело, поцеловала горячее под майкой плечо.

— Как от тебя вкусно пахнет!

— И... и от тебя, — шепнул он.

Тетя Домна и Тата в четыре руки лепили вареники.

— Сейчас пообедаем, и я тебя, мамочка, уложу, — тоном старшей сказала Тата.

— Я уже отдохнула, — сказала Нора.

— Глупости! Вынесем раскладушку, поставим ее вон там, под березками, в холодке, и если не хочешь спать, почитай или так полежи, погляди в небо. Тебе это просто необходимо.

— Ты думаешь? — покорно спросила Нора.

— Да. Я уверена.

— Усэ знает, — заметила тетя Домна. — Як той прохвессор!

Несмотря на то, что у Норы от облучения давно пропал аппетит, и вид, и запах любой еды теперь неизменно вызывал у нее тошноту, она — что значит дома! — съела добрый десяток вареников.

А после обеда Тата и впрямь вынесла в сад раскладушку, и Нора легла на расстеленном одеяльце, прикрытая старым, купленным еще на первые гонорары, атласным халатом до щиколоток. Этот халат Илья ненавидел: "Ты выглядишь в нем настоящей "совбуркой"!" Но ей сейчас было на редкость приятно касание гладкой, тяжело скользящей материи к разгоряченному телу.

Сквозь листья берез проглядывало высокое небо, чредою плыли по нему облака, и было так тихо, покойно вокруг,

что до нее доносилось журчанье ручья в овраге. Порхали желтые бабочки, танцуя в воздухе свои прихотливые танцы. Порывами налетал ветерок и раскачивал снежно-белые хозяйские флоксы. Белизна их соцветий на солнце казалась почти неправдоподобной, они сверкали холодным алмазным огнем.

Нора порой теряла чувство реальности — на каком она свете?

Аурелиу у окна, в этой его последней смиренной позе; Томка на корточках в темной пустой умывальной; Иоганна Карловна, бок о бок с которой прожита целая вечность, и вот уж она мертва; Роза, которой не выкарабкаться; обожженная Берта; превратившаяся в скелет, иссохшая баба Надя; Этери с колышущимся, как грелка, лицом; смешная ночная птица — дядя Колян; промелькнувшая яркой кометой красавица Катя; и та, из Ташкента, чье имя так и осталось ей неизвестным, у которой горбатая дочка Ира, и все другие — кого она приняла, впитала в себя, — как их связать с благодатью этого сада, с белыми флоксами, с синим небом и бабочками? С этим покоем, жужжанием пчел, с тишиной и невинностью ясного летнего вечера?

Где она, Нора, — здесь или там, среди них? Дано ли ей право нежиться после всего того, что она узнала? Не отнято ли у нее это право? Однако же, для чего-то создал Бог красоту! Зачем, для кого? Неужто для равнодушных, для толстокожих? Но они ее не достойны, они принимают бесценный дар, эту милость и утешение, как нечто, принадлежащее им от веку. Тогда почему же тем, кто ее достоин, так часто бывает не до красот? Они и не помнят даже, что это есть на земле. Как забыла и Нора, пока была там, с прокаженными.

Странно устроен мир! Кошунственно услаждать себя красотой, этими флоксами и облаками. И столь же кошунственно им не радоваться. Ах, если б она могла привезти сюда Аурелиу, разделить свою радость с ним... Нет, всех до единого уложить бы здесь под деревьями, чтоб каждый, хоть перед смертью, почувствовал и увидел то, что она. И услышал бы ручеек под горой...

Заболев, она возроптала: “Мало того, что я... и вот теперь еще это!” Но оказалось, что Нора куда счастливее многих других. Разве ей припекали плечо раскаленной печью, как той, из Ташкента? Разве есть у Норы больная горбатая дочь? Или разве ее приговаривали к расстрелу, как Аурелиу? Разве близкий ей человек тонул у нее на глазах в нечистотах?.. Да, правда, и у нее, как у Пани, невинно погиб отец, но мама-то все же осталась с нею, и не выкручивали ей рук, не толкали прикладами в спину... Или, быть может, она поменялась бы участью с выросшей в детском доме “счастливицей” Розой?

Норе, тыфу-тыфу, повезло и с детьми, и рак ей выпал на долю что ни на есть самый легкий: по сравнению с позвоночником или печенью, грудь-то ведь — чистый подарок! Так что нечего Бога гневить.

А перед глазами стоит — не шелохнется молодая рябина с тяжелыми грубовато-красными гроздьями и узорными листиками, и поминутно хриплым, словно простуженным голосом орет петушок за забором, и вот прилетела, заворошилась на ветке, захлопала крыльями птица и вертит маленькой, с металлическим черным отливом головкой, и поет что-то вроде: “си-тю, си-тю-тю, пить чай, пить чай”, и Антон где-то там спросил: “А мама еще не проснулась?”, и Тата ответила: “Тс-с, не шуми”, и все это счастье. Чудесно так лежать и дышать.

Но все же, все же, — где она, Нора, — там или здесь?

ДВУЕДИНАЯ ЖИЗНЬ

И началась ее новая, непонятная, двуединая жизнь...

Утром вскакивает, что-нибудь наспех ест, собирает гостинец для Аурелиу, не забывая и про подруг по палате: то прихватит для них морковки — стеклянно-прозрачную каротель, то — поспевший уже крыжовник из хозяйского сада, то потихоньку от скаредной тети Домны плюхнет в банку смородинового киселя.

К автобусу ее иногда провожают дети. С утра она полна сил, заряжена воздухом, пением птиц, успокоительным цветом зелени, ноги ее, до самых колен, мокрые от росы: Нора, словно нарочно, сходит с тропинки, путаясь в буйно разросшейся, отливающей сизым траве.

И, пока автобус едет первые пять километров лесной тенистой дорогой, ей кажется — сил этих хватит надолго, уж сегодня она себя, точно, чувствует собранной, энергичной, готовой действовать безотказно, вроде туго-натуго заведенных дедушкиных швейцарских часов.

Но, когда набитый людьми, гудящий, как улей, автобус подходит к "Соколу," Нора давно измочалена тряской, резкими торможениями, жарой, взвинчена хамскими ссорами пассажиров. До больницы она добирается, едва волоча свинцовые ноги, почти в полуобмороке. У ограды она останавливается, закрывает глаза и, вслушиваясь в знакомые голоса за кустами, медленно приходит в себя. Затем, украдкой вытащив зеркальце и припудрившись, она расправляет плечи, подтягивается и быстрым решительным шагом идет к воротам.

Аллея, асфальтовый двор, корпус, морг — она обзрывает весь этот комплекс, как бывший студент свою alma mater, как бродячий монашек свою покинутую обитель, как старый солдат — то место, где он получил боевое крещение. Косноязычные лекторы, плохие отметки, искусы и послушания, перебежки под шквальным огнем — все забыто.

Нора напряжена, все чувства ее обострены, нервы — как оголенные провода. Она занимает очередь на рентген, затем поднимается к Аурелиу. Он уже ее ждет и встречает улыбкой.

— Устала? — это всегда его первый вопрос.

— Нет. А как ты?

— Хорошо... Ребята здоровы? — второй.

— Слава Богу.

— Илья Николаевич еще не приехал? — третий.

— Нет, — отвечает она. — Да ты не волнуйся. Для нас с тобой ничего не изменится.

Она говорит тихо, чтобы их не услышали.

Аурелиу перебирает край одеяла, пальцы его дрожат.

— Я не за нас, — шепчет он, — я за тебя беспокоюсь.

— Что он мне сделает? — пожимает она плечами. — Ничего он больше не может сделать. У меня есть защита.

— Где я, а где ты, — отвечает он.

— Какой же ты глупый! Где я, там и ты. Неужели забыл?

— Я помню... Но он-то не знает этого. И будет тебя обижать. А тебе это вредно. Даже опасно. Очень.

— Мне теперь ничего не опасно, — отвечает Нора.

Она хмурит брови, делая вид, что сердится, на самом же деле прячет свой страх за него. Вот, кому все опасно: Аурелии тает, как мартовская сосулька, — он бледен, щеки его ввалились, он весь сквозится, просвечивает, одни глаза, еще потемневшие, углубившиеся, живут на его лице.

— Поешь, — говорит она. — Давай я тебя покормлю, можно?

Ей хочется гладить его, целовать ему руки, кормить с ложки. Он понимает это.

— Ты не пропустишь очередь?

— И черт с ней, займу снова.

Она разворачивает пакеты, снимает с банок притертые крышки, что-то роняет на пол, поднимает, снова роняет.

— Хочешь творожники? Погоди, я посыплю сахаром... И компот. Где стакан? Ой! Вот безрукая дура! Сейчас...

Кромешный, бархатно-мягкий взгляд обволакивает ее, и Нора сама не знает, блаженство или тоска стесняет ей сердце. Она подносит ему на вилке кусок творожника, подает стакан — запивать и, как часто делают матери, когда кормят детишек, вместе с ним открывает рот.

Дав ей натешиться, он говорит:

— Можно, теперь я сам? — и смеется.

Она тоже смеется, с ними смеется и вся палата. Расстроганно. Горько.

По пути в рентгеновский кабинет Нора заходит сделать укол (болезненный, потому что мужской гормон растворяют в масле, а оно очень скверно рассасывается, — мерзкий укол, от которого она начинает заметно толстеть, не говоря уж про то, что над верхней губой пробиваются усики, ежедневно

придирчиво ею выщипываемые), заглядывает и в палату, где по-прежнему мается со своим мочевым пузырем Паня, хнычет добрая, мягкотелая Берта, изводится неизвестностью Роза, с упорством фанатика смотрит в окно Этери и торжественно и светло кончается баба Надя. Нет на месте лишь Томки — ей сделали операцию, которая длилась восемь часов, но, кажется, хорошо удалась, и, хотя Томка двое суток была без сознания, лежала в реанимации, подключенная к разным приборам, да и теперь не может пошевелиться, "белое духовенство" считает, что ей еще здорово повезло.

Нора распределяет свои приношения, слушает истории, ахает, охает, узнает, что приехала Идочка ("девочка — это что-то особенного!" — одобрительно отзывается о ней Берта, и баба Надя сияет), потом неохотно прощается, а впрочем — ведь только до завтра, и подбегает к двери в рентгеновский кабинет как раз в ту секунду, когда Рахиль Герцевна выглядывает в коридор.

— Ну, наконец-то, ма шер! Еще немножко и я бы ушла.

"Безобразная герцогиня" ворчит, а сама достает из папки ее последний анализ крови и долго вертит бумажку в руках.

— Хулиганство, ма шер, настоящее хулиганство! Две с половиной тысячи лейкоцитов вместо восьми! Вы что себе думаете?

— Я? Ничего.

— Переливание, завтра же. Печенку, небось, не едите, брезгуете?

— Ем.

— Не верю. Трагизм разводите! А надо лечиться. Лечиться, лечиться и еще раз лечиться, как завещал незабвенный Владимир Ильич. А вы разве следуете заветам вождя? Нет! Это, ма шер, наводит на грустные размышления...

Вот так болтая, она раздвигает свинцовую дверь, ведет ее в аппаратную, обкладывает пластинами голову.

— Приступаем к гипофизу. Если у вас на висках начнут выпадать волосы, не пугайтесь, — тараторит она. — У меня есть одна дама, которая делает парики. Раскошелитесь на сотню рублей и забудете про это наказание Божие — наши отечест-

венные цирюльни. И ведь сколько сэкономите времени! Так что — без паники. Рекомендую, ма шер, запастись хорошеньким паричком...

Нора выходит из кабинета и опять поднимается к Аурелиу. Только к вечеру приезжает она в Степановское. Но когда, изнуренная долгой дорогой, пересадками и духотой, оглоушенная больничными впечатлениями, она поднимается от ручья на пригорок, — с нее как будто спадают вериги и в душу прокрадывается дремотная тишина.

”ПО СИЛАМ ДЕЛАЙ”

Одна фраза, которую Катя сказала в тот памятный вечер “у телевизора”, не давала Норе покоя. Предупредив домашних, она однажды осталась на ночь в Москве, позвонила после больницы по автомату, услышала в трубке знакомый, чуть глуховатый голос: “Привет, как я рада, давай скорее!” — и, схватив такси, поехала на Серпуховку.

Нора была готова ко всяким экстравагантностям (восточные оттоманки, африканские маски на стенах, русские лапти, прялки, иконы, но тут же и бар с бутылками шерри-бренди, на ковре живописно разбросаны “диски” в ярких конвертах, на полках — множество книг, среди них — конечно же, Кафка или что-нибудь в этом роде), но вместо всего этого — в комнате Кати стояла горбатая, как верблюд, простая кушетка, дачный складной столик, складные стулья, ободранный, с темным пятнистым зеркалом шкаф.

Причесана Катя была, как Нора любила, — с торчащей малярной кисточкой на затылке, одета в мятые шаровары, на блузке под мышкой зияла дыра.

— Ничего, что я так? — спросила она рассеянно. — Целый день валялась в прострации... Надо чего-то пожрать.

Попили кефиру, съели по калорийной булочке, легли рядышком на кушетку (которая сразу вспучилась, звякнула, пыхнула облаком пыли), одна за другой чихнули и засмеялись.

— Как живешь, Катя, — спросила Нора.

— Подыхаю.

Очень просто сказала, без малейшей рисовки.

Нора даже не стала спорить.

— Работаеть?

— Нет. Зачем?

— Так и валяешься?

— Думаю...

— О чем? Неужто... Ты в прошлый раз обронила...

— Про Красную площадь? — Катя странным образом догадалась.

Нора кивнула.

— Об этом и думаю... Жуть! И знаешь, чего особенно трушу? Схватят, а я без грудей.

— И что? — передернулась Нора.

— А то, что я уязвима. В общем, не знаю. Боюсь.

Они лежали ничком, в полутемной нише, на пыльной кушетке. В окно пробивалось вечернее солнце, освещало стенку напротив, на старинных обоях сверкал золотистый накат, какие-то медальоны. Глупо смотрелась на фоне этих обоев дачная, с бору да с сосенки, мебель.

— Брось это дело... Не надо, — сказала Нора. — Хватит.

И Катя опять не спросила, что "хватит". Поняла с полуслова.

— Да, да. Эксцессы опасны. Чреваты. Чем — мы знаем с прошлого века. Все эти Фигнер, Перовские... Верно. Но что же — пускай жиреют? Где выход?.. Э-э, хрен с ним! — сказала она. — Плевать.

Они помолчали.

— Катя, — спросила Нора. — Ты все еще любишь его?

— Кого? — усмехнулась она. — Твоего юродивого?

— Катя, он гибнет... Катя! Такие слова...

— Неуместны? — зубы ее в полутьме вдруг стали похожи на щучьи. — Но и я ведь не то, чтоб цвела! Мне простительно. И потом я его... вот именно, это самое... Как ты изволила выразиться.

— Я же не виновата, — тихо сказала Нора.

— А я тебя не виню. Я никого не виню. Кроме этой паскуды — жизни... Ах, если б он был у меня!.. Тогда бы...

— ...Тогда бы ты вышла на площадь? Ради него?

— Да... С наслаждением. Хотя это подло, я понимаю. Мужчины — гады, это уж точно. Но бабы... Бабы просто-напросто сучки.

Катя села, скрестив ноги, в самом углу.

— Взять меня, например. Болтала, болтала... Не-ет! Пора подышать. Вот что я думаю. Пора в могилку. Бай-бай.

— Катя! — Нора села с ней рядом и тоже скрестила ноги. Два маленьких Будды. — Не нравится мне, как ты говоришь. Цинично, по-моему, а? Катя, я к тебе очень... Ты мне родная стала... Катюша!.. — и она положила руку к ней на плечо.

Катя не сразу, но отодвинулась. Рука соскользнула. Напротив червонным золотом отливала стена.

— Юбку и черный свитер найдешь в нижнем ящике, — указала Катя глазами на шкаф. — И точка на этом... Скажи-ка, что ты читаешь?

Нора опешила. Вопрос был чисто интеллигентский, такой же естественный, как для домашних хозяек: "Что вы сегодня варите?" Но после всего сказанного...

— А я тут взялась за Бальзака, — не дождавшись ответа, заговорила Катя. — Ну и кошмар, слушай! Просто не понимаю, как мне могло это нравиться? Да и этот хваленый Стендаль. Сплошное слюняйство — "Пармская обитель". Ты не находишь?

Норы любила разговоры о книгах. Вдруг прорезается мысль, совсем неожиданная, которой во время чтения не было и в помине. Но в скрещении двух лучей, двух рапир, в поединке, образуется сполох, рождается звон, от сполохов — яркие контрастные тени, от звона — эхо... Опять же как у кухарок: "А перчик кладете?" — и разгорается спор, безудержно прет вдохновение.

Посыпались имена: от Бальзака — к Стендалю, внезапно выскочил Диккенс ("Диккенса надо читать в метель, укутавшись пледом"), от Диккенса перекинулись к Достоевскому, от Достоевского — к Томасу Манну. "В "Волшебной горе"...

— начала было Нора. “Фу! — прервала с презрением Катя. — Немецкая тягомотина, скукотища!” И пошло, и пошло.

Напротив догорала стена. Они в своем уголке едва различали друг друга. Гудели и тенькали пружины кушетки.

— Ваш, что ли, чайник стоит на плите? — постучались к ним в дверь.

— О, ч-черт! Еще один распаялся! — вскричала Катя и побежала на кухню.

— Вот что, — вернувшись, сказала она. — Ты никуда не поедешь. Чаю напьемся и ляжем.

— Жив чайник?

— Жив.

Включили настольную лампу (комната оказалась при свете еще ужасней), пили чай, хрустели сухариками, долго орали. Опять и опять возвращались к вопросу, который у них назывался условно “Красная площадь”. Залезали в дебри политики и социологии. Спорили.

— Пусть же они, наконец, узнают, что мы существуем, — крикнула Катя, — что этого духа обратно в бутылку не запихнешь!

— Но то, что ты предлагаешь, — бессмысленно! Это чистейшей воды анархизм! — кричала Нора. — Нужна платформа! Есть у тебя платформа?

— Что ты пристала? Мне только ясно одно: дальше так жить невозможно! Я задыхаюсь! — кричала Катя. Внезапно она вскочила и, порывшись в скрипучем шкафу, достала Библию.

— Погадаем? Чур, только честно. Что выйдет, то выйдет.

Норе попало: “...Человек рождается на страдание, как искры, чтоб устремляться вверх”.

— Глупости, глупости! — замахала руками Катя. — Это мое. А тебе — сейчас, подожди.

Сосредоточилась, помолчала, резко раскрыла Библию, ткнула пальцем.

— “Долго ли мне видеть знамя, слушать звук трубы?” Нет, — вздохнула она. — Это тоже мое.

— А говорила: чур, честно!

— Терпение. Четвертая снизу: “Все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле, куда ты пойдешь,

нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости..."
Что за холера, никак не выходит, и это — мое!

Катя захлопнула Библию.

— Что это было? — спросила Нора.

— Екклесиаст. Надо знать.

Когда улеглись (подушка была одна, так что они почти касались друг друга носами), Катя сказала:

— Великая книга. "По силам делай"... А ты-то работаешь?

— Нет. Что-то с моей головой...

— Того-этого?

— Да... Может, от облучения? Начну фразу, дойду до середины — и как, все равно, пластинку заело. Ни с места!

— Забавно, — сказала Катя.

— Куда уж забавней.

— А ты, — подумав, сказала она, — на большое пока не замахивайся. Пиши рассказы в три строчки. Прилетела птица, стукнула клювом о подоконник. Взъерошила перья. Все. Это в порядке бреда.

— Катя, — сказала Нора. — Я уже без тебя не могу.

— Дура сентиментальная, — буркнула Катя.

Но голос вроде был ничего. Оттаявший.

ОПОЛЗЕНЬ

Приехал веселый Илья — весь бронзовый, обдутый степными ветрами и со своим монголоидным типом лица, как никогда похожий на Чингиз-Хана. Кинулся к Норе, затормозил ее, закружил: "Дома наша мамуля, дома!" Для проформы задал вопрос о здоровье, ответа не выслушал, сказал мимоходом: "А ты потолстела" и сразу, с места в карьер, начал рассказывать о совхозе.

Какие там, дескать, дивные люди (говорю тебе — золото высшей пробы!), особенно очаровала его одна девушка — дочка профессора из Ростова, бросила институт, оставила папу и маму, начхала на ванную и ковры и поехала, по ее выражению, "поближе к земле, к истокам" (не думай, это не по

Толстому: мол, пусть меня покусает святая вошь, а что-то новое, романтическое, праведно-комсомольское), и вот девочка работает в клубе, основала библиотеку, выпускает "боевые листки", днем, как полоумная, мотается по бригадам (на чем бы ты думала? на собственном мотоцикле — гонка с препятствиями, да на бешеной скорости, да еще по колдобинам, в туче пыли!), вместе со всеми молотит, скирдует (ни разу не видел, чтобы она прохлаждалась в тени!), а вечером, словно и не махала вилами, не ломала хребет, а только что, как Афродита, вышла из пены морской, до упаду танцует бальные танцы под радиолу (и мы, — добавил Илья, — даже исполнили с ней вальс-бостон, под бурные аплодисменты присутствующих!).

— Ты ведь знаешь этот мой самый любимый тип женщин, — рассказывал он. — Высокая, длинноногая, прямые спортивные плечи, короткая стрижка, мятые брючки и при этом — совершенно русалочьи очи. Словом, вот что я, Нора, решил: мы напишем о ней книгу. Я за тем и приехал. Накатаю заявку, заключу договор с "Профиздатом" или с "Московским рабочим", и через два-три месяца мы привезем и положим на стол этим столичным зажавшимся дармоедам настоящий бестселлер. Назовем его "Девушка нашей мечты" или что-нибудь в этом духе... Я, не теряя ни минуты, вернусь в совхоз, сниму там тихую комнатку, набросаю одну-две главы, а ты давай закругляйся с лечением и...

Ничего как будто из ряда вон выходящего в монологе Ильи не было. И тон его был обычный — быть может, излишне приподнятый, но ведь это в его характере: увлекаться, строить воздушные замки, слушать только себя, оставаясь глухим к реакции собеседника.

Да, впрочем, какой-нибудь месяц назад и Нору ничуть не смутила бы мысль написать — ну, если не книгу, то очерк — о юной культуртрегерше из степного совхоза. Она бы даже сочла ее образ весьма колоритным и выигрышным: интеллигентная барышня, дочка ученого, современная Афродита, моторизованная наездница в шлеме и брючках — эффектно!

Сейчас она только диву давалась. Фигурянье на мотоцикле, боевые листки, бальные танцы в клубе — неужто же все это где-то есть? Выходит, что есть. И такая жизнь, безусловно, тоже требует осмысления. Но не писать же, как прежде писала, — сбирая с цельного молока жизни одни лишь сливки ее... Господи Боже ты мой! Чего-чего только она ни бралась (да с каким апломбом!) отображать на бумаге: северных рыбаков и тверских земледельцев, синоптические бюро и ткацкие фабрики, литье под давлением и завод железобетонных конструкций, плотины и школы — ничто ее не пугало, не останавливало, для всего находилась бойкая фраза...

А страна ее как лежала, так и лежит неописанная. Немая, дремучая, бездыханная.

Хоть бы часть того, что ей довелось увидеть, правдиво поведать людям, хоть бы сотую долю — и то не зря бы жила. Но даст ли Бог силы? А тут еще голова...

— Илюша, я не могу писать с тобой эту книжку, — тихо сказала она.

— Это еще почему? — так и вскинулся он.

— Не знаю. А только я не могу.

— Вот новости!

— Илюша, я... Поверь, что это серьезно.

— А по-моему, блажь.

Он рассердился, — однако, не так, как бы должен был, если б узнал, в чем дело. Его обозлило, что вот, не успел приехать, уже испортили настроение, чего-то там пререкаются с ним, капризы разводят, несут какую-то чушь.

— Мадам меняет профессию? — съязвил он. — Быть может, пойдет в управдомы?

Нора молчала.

— Ну что же это, ну честное слово! — сказала Тата. — Оставь ты маму в покое! Она же больна, и твой сарказм... Неужели не чувствуешь? Какая-то дикость!

— Не лезь не в свое дело! — оборвал он ее.

Тата, однако, не унялась.

— Извини, — спокойно сказала она, — но мне кажется, несколько странно вести разговор о работе, а тем более — об отъезде, когда маме целых два месяца еще облучаться.

— Видали? Плевако нашелся! — наигранно хохотнул Илья.
— Да поймите вы, господин адвокат: хватит маме копать в своих ощущениях! Для нее гораздо важнее...

— Но речь идет о жизни и смерти, — опустил глаза, отдельно сказала Тата. — И ты уж, пожалуйста, хоть на этот раз позволь ей выбрать самой: лечиться или же плюнуть, уехать, писать — не писать, и если писать, то что.

Тон у девочки был не совсем как у той абстрактной блондинки, с которой привыкла сравнивать себя Нора, и все же она никогда не умела говорить столь уверенно и хладнокровно. Тон этот был ей чужд, и, возможно, напугал бы ее, если б она не почувствовала, что он — лишь прикрытие для бушевавшего в дочери гнева. Даже Илья на секунду умолк, ошарашенный этим отпором. Ему это было в диковинку. Но тем большая его охватила ярость.

— Провалитесь вы все! — взревел он и забежал по комнате.
— Вижу, понял: нет у меня семьи — ни жены, ни детей, никого! Завтра же еду, завтра! Обратно в свой милый совхоз!.. Если б вы знали, жалкие, жалкие вы уроды, как прекрасно, как празднично, как возвышенно я там жил! У вас здесь вонючая яма, сточные трубы, клоака! Ну и глотайте свое дерьмо!

Антон притих, как мышонок, у тети Домны, накрывавшей на стол, тряслись руки.

— Рюкзак... — прошептала Нора, следуя своим мыслям. — Тяжелый он, рюкзачок...

— Какой рюкзачок? О чем ты? Все вы тут попросту спятили! — возопил вконец уже сбитый с толку Илья.

Нора его пожалела.

— Илюша, — сказала она, — не сердись... Я тебе объясню... Пойдем прогуляемся?

— Да, да, пойдем, ты права.

— Що оце робиться, матынька рідна! Обидать сидайте, — взмолилась к ним тетя Домна.

— Э, тут вся жизнь по швам трещит, а вы со своим обедом, — отмахнулся Илья.

И вот они быстро-быстро, словно от кого-то спасаясь, идут в затылок друг другу по узкой тропке вдоль почти сплошь

заросшего жирной кугой ручья. О том, что он есть, не заглох, напоминает лишь тоненькое журчание в гущине благоденствующих, напивавшихся влагой трав да редкие бочажки, где он, разгулявшись на воле, играет всей толщей воды, от поверхности до самого дна... Идут молча, как будто бы тоже ищут свой бочажок, где им будем вольготно поговорить. Ручей их приводит в запущенный, одичалый, старинный парк, и там, на покато́й полянке, у озера, подернутого густой ряской, точно зеленым ковром, они, наконец, останавливаются и переводят дух. Оба пристально, словно впервые, глядят друг на друга.

— Ну, и что с тобой происходит? — спрашивает Илья.

— Со мной?.. — тянет Нора.

Не так-то ей просто сказать то, что она обдумала по дороге, хотя все уложилось в одну фразу: "Отныне я буду писать правду, только правду и ничего, кроме правды". Но произнести это вслух невозможно, и Нора молчит.

— Ну? — повторяет он.

— Понимаешь, — мнется она. — Когда человеку грозит смерть, ну, словом... Когда озираешь все свое прошлое... Как-то уже неохота жить начерно, охота по-настоящему, чтоб больше не врать, особенно в нашем деле...

— А раньше, выходит, врала?

— Раньше я лстила себя надеждой, что это, по крайней мере... ну, как бы сказать?.. на пользу стране. А теперь... Теперь я считаю — во вред, понимаешь?

— Любопытно, — щурится он. — Весьма любопытно. Понятие "государство" у тебя уже не сливается со "страной". А что ты имеешь в виду, говоря о стране? Россию? Матушку-Русь?

— Не знаю, — с тоской отвечает она. — Наверно, людей.

— Ты права в одном, — говорит он уже серьезно. (Таким серьезным Нора почти никогда не видела мужа: настолько привык юродствовать человек, что юродствовал даже с ней и с самим собой.) — Государство у нас жесткое, очень жесткое, верно. И все-таки я не вижу никакого другого, которое бы могло, отказавшись от жесткости, сохранить этот строй. Разные дохлые демократии тут не помогут. Значит, что?

Пойти на попятный, отречься от нашего строя? От нашей мечты? Так?

— Но зачем, — говорит она, — зачем тогда этот строй? Для чего, для кого? Ведь люди страдают, Илюша...

— Что люди! Они всегда противятся новому. Их и в царство небесное пришлось бы тянуть за уши! Вспомни: картошку, и ту силком заставляли сажать, а они бунтовали. От холеры пытались лечить, а они врачей забивали дрекольем... Я понимаю, ты против насилия. Куда как красиво и благородно. Но что же? Пускай пухнут с голоду? Исходят кровавым поносом? А? То-то. Или возьмем, например, коллективное землепользование. Оно прогрессивнее частного — это как будто не вызывает сомнений, правда? А народ — он дурак, не видит собственной выгоды. Как тут быть? Погодим, пока он очухается? Больно долго годить. А тогда, моя милая, принимай раскулачивание. И притом — со всеми последствиями. То же и с прочим. Да, у нас жесткое государство. Но в конечной своей перспективе (согласен, что дальней) — оно принесет людям счастье. Тем самым людям, о которых ты так печешься.

— Каким людям? — неслышно спрашивает она. — Тем, чьи косточки уже сгнили в бесчисленных лагерях? Или тем, что будут безвинно гибнуть и дальше?.. Нет, Илюша, я не хочу помогать государству делаться еще жестче. А наши с тобой книги...

— Послушай-ка, дуся моя, — вдруг спрашивает Илья с опасным прищуром, — это кто ж на тебя там влияет? Не Катя ли, о которой ты мне говорила? Или кто-то другой?

По-прежнему плавно покачиваются стволы сосен, загадочно-тускло глядит в небо покрытое ряской озеро, и теплая на пригорке трава нежно и сухо шуршит рядом с ними...

— И не стыдно тебе? — говорит Нора. — В кои-то веки решили поговорить всерьез, и так все испортить... Нет, Илья, невозможный ты человек. Немыслимый.

И опять они, будто впервые, смотрят друг другу в лицо.

— Что-то новое в тебе появилось, никак не пойму, — говорит он. — Даже во внешности. Неприятное что-то.

— Да, — кивает она. — Это уколы. Есть и термин специальный: маскулинизация облика.

— Вот как? — слегка теряется он. — Я-то думаю: что с ней такое?.. Прости, не знал.

— Ничего, — отвечает Нора.

Ей хочется спрятать в ладонях свое изуродованное лицо, но она не делает этого. Только чувствует, как что-то медленно страгивается в душе, оползает — целый пласт ее жизни. Их жизни. И это неотвратно. А Илья, с его внезапными перепадами настроения, вдруг ни с того ни с сего размяк, в глазах у него закипают слезы, он говорит:

— Может, все же приедешь, а, малышастик?

— Возможно, — отвечает она.

Нора знает, что не приедет. С этим покончено. Но ей его жаль. И себя. Вернее — того пласта, того оползня, который вот-вот уже плюхнется в озеро, и утонет, и скроется с глаз под сомкнувшимся тусклым покровом ряски.

Но ведь был на нем дерн. И бегали муравьишки. Росли деревца...

ЧАСОВОЙ У ВОРОТ

Илья уехал, и Нора со смешанным чувством легкости и тоски, раскрепощения и потери подходила к воротам больницы.

Ей и хотелось скорее увидаться с Аурелиу, и что-то сегодня словно отталкивало ее от него. Илья, как ни странно, был ее тылом, тем рубежом, до которого, в крайнем случае, можно еще безбоязненно отступить. Но — порвалась между ними связь. Нора стала свободной, и это, противно здравому смыслу и логике, тотчас сковало ее, поставило в унижительную зависимость от Аурелиу, от силы его к ней любви. Отныне в этой любви для Норы сосредоточилось все, и вот она уже в ней сомневалась и мучилась.

В последние их свидания Аурелиу относился к Норе не то чтобы холодно, — нет, он был нежен, — а все-таки сдержаннее, чем прежде. Не ласкал, не целовал ее в губы, не прижимал к себе. И однажды даже назвал на "вы". Правда, он тут же поправился, засмеявшись. Но это "вы" ее резануло.

Одно утешало ее: память о том, как она застала его врасплох — на коленях, жадно смотревшим в окно. Спина, поворот головы, напряженная шея, смиренные пятки — вся поза кричала: люблю, люблю!.. Он мог совладать со своим лицом, он мог загнать внутрь слова — поза обманывать не умела.

Но что означало его поведение? Быть может, она-то не видит, а внешность ее, тем временем, так изменилась, что даже ему она стала физически неприятной? Возможная вещь. Ведь тягостно ей смотреть, к примеру, на толстую Лиду, заросшую неопрятной щетиной... Подобные подозрения ее осаждали в злые минуты, и Нора сама признавала себя злой.

Была у нее и другая мысль. Что, если он, в предчувствии близкой смерти, не желает более тратить на Нору душевные силы? И они у него без остатка уходят теперь на решение и разгадывание каких-то заветных предвечных тайн? Возможно и это. Но так она думала только в минуты отчаяния. Столь уже черного, что пред ним отступало, казалось ничтожным все личное. Тогда, чтоб скорей загасить эту мысль, которой не мог вместить ее разум, Нора шептала, как заклинание: "Пусть он сейчас же разлюбит меня, но пусть останется жить".

Однако случалось и так, что в ней поселялось добро, и тут все то, что было в ней лучшего, безошибочно прозревало истинную причину его непонятной сдержанности. Причина эта была — его рыцарство. Смешное, неистребимое. Аурелиу просто-напросто помогал от него отлепиться. Чтоб не была для нее безысходностью его смерть.

...Он стоял у ворот и ждал ее. И, хотя уже целых полмесяца он был прочно прикован к постели, Нору не удивило, что он стоит здесь сегодня и ждет. Аурелиу не мог не почувствовать, как он ей нужен. Взглянуть на него и проверить. Взглянуть — и понять.

Он улыбался. Вид у него был почти здоровый. Чисто выбрит, подтянут. И — в своей каторжной полосатой пижаме — даже щеголеват.

— Здравствуй, девочка. Как ты?

— Я хорошо. А ты?

— Как видишь, — он улыбался.

Нора разглядывала его, и в ее сознании попеременно мелькали то надежда на чудо, то чуть не животный страх. Что это с ним? Ремиссия?

Говорят, так бывает: вдруг, незадолго перед кончиной, больному становится лучше, и эту-то подлую шутку природы, этот ее пируэт, врачи называют ремиссией. Но ведь случается и другое. Редко, конечно. Однако, даже в учебник, как утверждают, попала история некоего счастливчика, фермера из Аризоны, у которого бесследно исчезла, сама собой рассосалась огромная опухоль. И это событие (возможно, далеко не единственное) вошло в анналы медицинской науки под обнадеживающим названием: самоизлечение рака.

Почему же то, что было дано какому-то фермеру, заказано Аурелиу?.. Нора так и впивалась в него глазами, а он, зная себе, улыбался.

Потом они тихо пошли от ворот к корпусу, Аурелиу деликатно спросил ее об Илье, и она рассказала ему про Тату, про спор о насилии и про оползень.

Миновав входную дверь в корпус, приемный покой, скамью, на которой Нора накануне своей операции объяснялась мужу в любви, они повернули за угол, куда она почему-то ни разу не заходила, и оказались на узкой меж пыльных кустов тропе. Тропа вела к маленькому строеньицу, похожему на деревенский сарай.

— Глянь-ка, что я тут высмотрел, — сказал Аурелиу. — Зайдем?

Он потянул за кольцо глубоко запавшую дверь, и они вошли в темное, без окна, помещение, набитое разной рухлядью и пахнущее рогожей и керосином. Аурелиу прикрыл за собой дверь, но, чтобы дать доступ свету, просунул в щель ручку стоявшей тут же метлы. Солнечное сквозное полотнище с приплясывающими пылинками отвесно повисло в сарае, выхватывая из тьмы какие-то бочки, носилки, заржавленные канистры, бутылки, кипу рогож. Аурелиу опустил на них и, потянувшись к Норе, усадил ее к себе на колени.

— Тебе здесь не очень мерзко? — спросил он.

— Мне здесь чудесно, — шепнула она.

— Девочка, — сказал он, — я давно хотел тебя попросить...

Покажи мне свой шов.

— Нет! — воскликнула Нора.

— Прошу тебя.

— Нет!

— Покажи, — сказал он. — Пока я его не видел, между нами еще остается преграда. Крохотная. Но все-таки есть. Я хочу, чтоб ее не было.

— Миленький, не могу, — взмолилась она. — Мне самой, и то гадко!

— Я знаю. Но этого быть не должно. И не будет! — с силой сказал Аурелиу.

Нора молча стала расстегивать кофточку. Она расстегнула и лифчик, задрала его вверх, к шее, и закрыла глаза.

— Ты моя бедная. Ты моя милая. Ты моя прелесть, — услышала Нора.

Вдоль всего ее безобразного, убегающего под мышку и даже немного на спину шва низались его поцелуи. И, хоть больной своей кожей, с омертвелыми нервными окончаниями, обожженной рентгеном и заскорузлой, она всей их сладости ощутить не могла, душа у нее заходилась и обмирала.

Счастливейший час своей жизни они провели в вонючем сарае, на задворках больницы, в нескольких метрах от морга, среди бочек с известью, бутылей с карболовой кислотой, клеенчатых рваных носилок и метел.

— Аурелиу, проводи меня до ворот. Не могу я сейчас на рентген. Не хочу, — сказала она.

— Да, — сказал он. — Конечно.

Они вышли на яркий солнечный свет и закрыли дверь, тотчас плотно ввалившуюся в проем. Мягко стукнуло по гнилой древесине кольцо. Нора смотрела на Аурелиу — он шел впереди с той чуть небрежной осанистостью, какая появляется у мужчин, когда они точно знают, что их женщина с ними счастлива. Не в полосатой пижаме, а в элегантном костюме его сейчас видела Нора, таким европейцем, на какой-нибудь

там авеню Опера или Оксфорд-стрит. Ей стало смешно, она прыснула. Он сразу откликнулся легким смущенным смешком.

— Я слишком занесся, да? — спросил он. — Ты меня осуждаешь?

— Ужасно, — сказала Нора.

У ворот они обнялись, без единого слова, воровато и наспех. Нора ушла. Все ее счастье сгнуло, словно и не бывало. Тревога снедала ее. Снедала печаль. Что с ним сегодня такое? Неужто ремиссия? И он, понимая это и собрав все силы души, всю волю (наподобие того летчика, уже, в сущности, мертвого, но доведшего свой самолет до базы), сделал для Норы последнее, что еще мог, — вернул ей женскую гордость? А вдруг это просто чудо? Обыкновенное чудо? Бывают же, Господи, чудеса...

Она обернулась. Аурелиу стоял у ворот. Издали он уже ей не казался дэнди. Маленькая фигурка в полосатой больничной пижаме. Нора дошла до угла и опять оглянулась. Аурелиу, как часовой, стоял у ворот. Она помахала ему, он ответил, она зашла за угол.

Вдруг она встала, как вкопанная. "Что, если он уже умер, исчез, растворился в воздухе? Что, если все это ей примерещилось? Что, если нет да и не было его никогда?" Нора бегом вернулась к углу, робко выглянула — он стоял у ворот. Аурелиу махнул ей рукой, она знала — он улыбается. Она даже слышала его шепот: "Не бойся, девочка, уходи, так и так я останусь с тобой".

"Нет, Аурелиу, нет! Не смей умирать, ты слышишь?" — безмолвно крикнула Нора.

"Я — вечен!" — казалось, ответил он ей через улицу.

Он обращался к духовному в ней, однако, земное женское горе не отпускало, душило, раздавливало ее.

Нору толкали прохожие, анафемский красный трамвай заслонил от нее Аурелиу, но вот он промчался, гремя, — караульный стоял у ворот.

Внезапно он сделал какой-то жест, словно что-то тяжелое поднял с тротуара. "Рюкзак", — догадалась она.

"Иди!" — приказал Аурелиу.

И Нора ушла.

Инна Варламова (1923 г.р.) начала печататься в 1955 году и за четверть века литературной работы опубликовала в Московских издательствах несколько романов и сборников рассказов, выступала как переводчик с французского.

Роман „Мнимая жизнь” — переломный в судьбе писательницы.

Сюжетное построение его внешне совпадает с „Раковым корпусом” Солженицына — героиня попадает в онкологическую больницу, встречается там с множеством людей, слушает их разговоры, жизненные истории, вспоминает свою жизнь. Перед лицом придвинувшейся так близко смерти люди становятся искреннее, привычные личины слетают с них, и все, через что им пришлось пройти в 30-е, 40-е, 50-е, раскрывается перед читателем еще одной стороной советского мира, той стороной, которую Солженицын просто не мог увидеть, — мира, где жили женщины-„вольняшки”. Оставаясь, по преимуществу, психологической драмой, роман „Мнимая жизнь”, именно в силу устремленности к предельной искренности, то и дело касается многих тем, запрещенных советской цензурой: люди в нем знают страх смерти, спорят о политике, спят друг с другом, страдают от проявлений расовой и национальной вражды. Все это предопределило судьбу книги: оказавшись неприемлемой для советских издательств, она попала в Самиздат, а оттуда перекечевала на Запад.